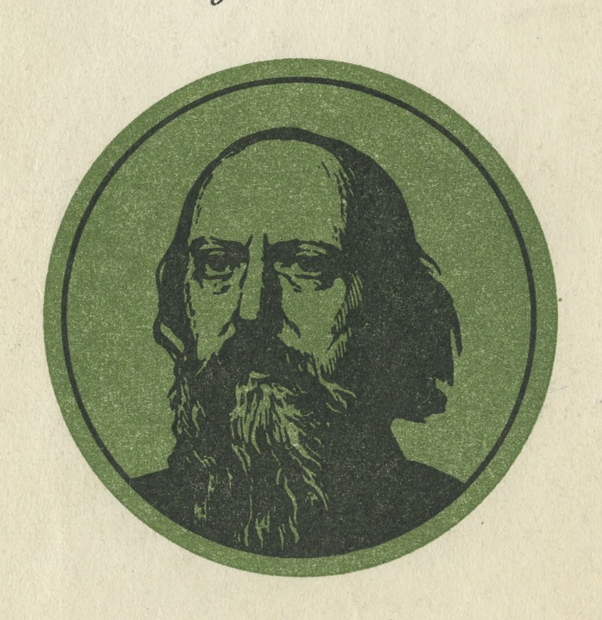
Е. И. ПОКУСАЕВ, В. В. ПРОЗОРОВ

Михаил Евграфович САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Биография писателя



М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Е. И. ПОКУСАЕВ, В. В. ПРОЗОРОВ

Е. И. ПОКУСАЕВ, В. В. ПРОЗОРОВ

Михаил Евграфович САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Биография писателя

•

ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Издание второе

Ленинград «Просвещение»
Ленинградское отделение
1977

8Р1(075)
П 48

Покусаев Е. И., Прозоров В. В.

П 48 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Биография писателя. Пособие для учащихся. Изд. 2-е. Л., «Просвещение», 1977.

160 с.; 1 л. ил. Серия «Биография писателя».

В книге освещается сложный, полный внутреннего драматизма жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина, писателя, мыслителя, публициста, наследие которого В. И. Ленин завещал «оживить полностью... для масс, ставших свободными».

Авторы раскрывают процесс формирования писателя, особенности его таланта. Со страниц книги встает зримый образ сатирика. Книга иллюстрирована.

П $\frac{60601\text{-}019}{103(03)\text{-}77}$ 268-77

«Я люблю Россию до боли сердечной...»
М. Е. Салтыков-Щедрин

Сатирическое искусство требует не только редкой силы таланта, но и незаурядного мужества, большого душевного напряжения. Писателя-сатирика волнует то, что большинству кажется привычным и даже нормальным, что успело войти в плоть и кровь человека, что составляет самую атмосферу его жизни.

Но заметить и запечатлеть жизненное зло — этого, оказывается, еще мало. Надо быть преисполненным искренней веры в силы и возможности человеческие, в неизбежность искоренения зла на земле. Трудно, говорил Салтыков-Щедрин, указать хотя бы «на один пример отрицания, который бы не имел в основании своем положения самого ясного и твердого». Вспоминаются известные некрасовские строки, посвященные другому великому сатирику, предшественнику Салтыкова-Щедрина, Гоголю:

Он проповедует любовь
Враждебным словом отрицанья...

На склоне лет Салтыков-Щедрин обращался к молодым читателям России с таким призывом: «... воспитывайте в себе идеалы будущего; ибо это своего рода солнечные лучи, без оживотворяющего действия которых земной шар обратился бы в камень. Не давайте окаменеть и сердцам вашим, вглядывайтесь часто и пристально в светящиеся точки, которые мерцают в перспективах будущего». Сам он не мог представить жизни, лишенной идеалов. Страшно станет жить, считал

Салтыков-Щедрин, если наступит «время, когда самые скромные ссылки на идеалы будущего будут возбуждать только ничем не стесняющийся смех».

«До боли сердечной» привязанный к своей родине, писатель-сатирик верил в ее будущее, в грядущее торжество добра и справедливости. И все, что приходило в противоречие с живой жизнью, вызывало его гневный смех. Все, что вело к лживой официальности, к душевной окаменелости, к насильственному утверждению авторитетов, к насаждению страха и трепета, имело в Салтыкове-Щедрине своего врага. Все, что боялось смеха, становилось предметом его сатирического обличения.

На протяжении нескольких десятилетий XIX века честная, мыслящая Россия с нетерпением ждала щедринских сатирических выступлений, злободневных, остроумных, провидческих. И когда внезапно достигали его слуха слова одобрения, поддержки, сочувствия, в жизни сатирика наступали счастливейшие минуты. Он верил в мужественного, горячего сердцем, честного читателя, который сегодня еще робок, но громко заявит о себе завтра. «Умру за правду, а уж неправде не покорюсь!» — торжественно клянется юный Сережа Русланцев, герой щедринской «Рождественской сказки».

Подобно другому своему герою, литератору Крамольникову, Салтыков-Щедрин «все силы своего ума и сердца» направляет «на то, чтобы восстановлять в душах своих присных представление о свете и правде и поддерживать в их сердцах веру, что свет придет и мрак его не обнимет».

Салтыков-Щедрин был одним из самых любимых писателей В. И. Ленина. Вождь пролетарской революции не переставал восхищаться непревзойденным талантом сатирика, сотни раз по самым острым социально-политическим поводам обращаясь к щедринским образам, крылатым словам, метким определениям.

Непреходящ для нас завет В. И. Ленина «вспоминать, цитировать и растолковывать Щедрина...» [1].

А. В. Луначарский вспоминал, как однажды за границей среди большевиков зашла речь о Салтыкове-

---

[1] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 48, с. 89.

Щедрине. Говорил в основном блестящий знаток сатирика, соратник В. И. Ленина М. С. Ольминский. Говорил вдохновенно и красноречиво. Часа два с интересом слушали его. Рассказывал он о жизни писателя, о том, каким сумрачным выглядел этот человек, родивший на земле столько смеха, больше, чем кто бы то ни было из живших на ней, не исключая Аристофана, Рабле, Свифта, Вольтера и Гоголя. М. С. Ольминский припоминал различные ситуации, выражения сатирика. «Мы хохотали их меткости, мы изумлялись тому, в какой мере они остаются живыми,— говорил А. В. Луначарский.— И Владимир Ильич окончил нашу беседу таким замечанием:

— Ну, Михаил Степанович, когда-то придется поручить вам оживить полностью Щедрина для масс, ставших свободными и приступающих к строительству своей собственной социалистической культуры.

Я отлично запомнил эту фразу» [1].

Не секрет, однако, что сегодня Салтыкова-Щедрина читают куда меньше, чем других классиков — его великих собратьев по перу: Л. Толстого, Тургенева, Достоевского, Чехова. Порою Салтыкова-Щедрина принимают за писателя отпугивающе трудного, «запутанного», чуть ли не скучного. В основе поспешных читательских выводов лежат впечатления от недостаточного знакомства с великим мастером сатирического смеха. Понять и почувствовать Салтыкова-Щедрина может только тот, кто всерьез, не наспех, не на ходу попробует его читать.

Личная жизнь Салтыкова-Щедрина не богата занимательными сюжетами, неожиданными поворотами, чрезвычайными происшествиями. Она даже в чем-то покажется малопримечательной и однообразной. Но это только в том случае, если вообще возможно деление человеческой жизни на личную и неличную. Салтыков-Щедрин такого деления не знал. Почти все его сознательные годы были отданы писательству, родной литературе, сатирическому искусству. Он весь в своих книгах, и поэтому разговор о нем — это главным образом разговор о его сатире.

---

[1] См.: *Ольминский М. С.* Статьи о Салтыкове-Щедрине. М., Гослитиздат, 1959, с. 111.

Горький убежденно заявлял, что историю прошлого века без помощи Салтыкова-Щедрина понять невозможно. Действительно, монархический режим, силившийся казаться оплотом свободы и процветания народа, в лице сатирика приобрел безжалостного летописца и неукротимого врага. Своим смехом писатель разоблачал фальшивые притязания власть имущих. Он развенчал эпоху «великих реформ», вскрыл ничтожность ее результатов. Он зорко следил за бесславным путем русских либералов, превращавшихся в откровенных противников народных интересов. Щедринская сатира, метя в российский деспотизм, улавливая исторически конкретные закономерности своей поры, достигала высот общечеловеческих, создавала типы общезначимые, взывая к совести и чести людей всех времен.

Писатель-сатирик с такой энергией и очевидностью выставлял на позор зло пороков прошлого, что его сочинения и по сей день сохраняют свой сатирический заряд, морально как бы освобождают людей от уродующих предрассудков и привычек. И сегодня сатира Салтыкова-Щедрина возбуждает чувство отвращения к лицемерию, подлости и трусости, как бы ловко они не маскировались.

Все лучшее, что создано в советской сатире, состоит в кровном родстве с богатым и сложным щедринским наследием. Горьковская эпопея «Жизнь Клима Самгина» бесспорно восходит к традициям автора «Господ Головлевых», создателя бессмертного образа Иудушки. И Головлев, и Самгин — гениальное воплощение духовной пустоты, убивающей в человеке все живое и естественное. С поистине щедринской зоркостью различал современную дрянь обывательщины, живучую мораль молчалинства, помпадуров новейшего покроя Маяковский-сатирик.

«Влияние Салтыков на меня оказал чрезвычайное»,— признавался Михаил Булгаков. «Наша сатира,— говорил Константин Тренев,— должна воспитываться на величайшем из наших сатириков. Это ее настоящий путь...» Отвечая одному незадачливому литератору, очень поверхностно и облегченно представлявшему себе цели сатирического творчества, Александр Твардовский напоминал: «Беда Ваша в том, что Вы плохо думаете о читателе, не предполагаете, что он до-

статочно умен, имеет возможность сравнения Ваших рассказов с тем, что ему довелось читать, скажем, у Чехова, Щедрина...»

Творчество Салтыкова-Щедрина было и остается источником поучительных и плодотворных традиций для искусства нового времени. Щедринское сатирическое наследие и поныне сохраняет свою огромную действенность. Привлечь внимание сегодняшнего читателя к личности создателя бессмертных сатирических циклов — главная цель этой книги.

ПОШЕХОНСКИЙ УГОЛ



С детством у человека обычно связываются самые светлые воспоминания. Но Салтыков с содроганием говорил о своих детских годах. Позднее он с трудом старался припомнить, была ли вообще знакома ему беззаботная веселость, неразлучная с ребячьей порой.

Объяснить это словами «крепостное право» или «поместный быт» — значит уже сказать многое, но далеко не все. Ведь находили же и Пушкин, и Тургенев, и Аксаков, и Лев Толстой не одни только мрачные тона для живописания своих детских лет, своих «дворянских гнезд». Для Салтыкова на всю жизнь «пошехонская старина» осталась домашним адом.

На склоне лет писатель-сатирик создаст грандиозный по силе обобщения собирательный образ Пошехонья — края дикого самоуправства, необузданного крепостничества, страны бедной, порабощенной, обильно политой слезами и потом мужика. И несмотря на бесспорные общероссийские масштабы этого образа, связь его с краем детства Салтыкова несомненна.

Земли к северу от Москвы в Калязинском уезде Тверской губернии принято было считать захолустьем, углом, затерявшимся где-то среди болот и лесов. Жителей этих мест именовали не иначе как «заугольниками» и «лягушатниками».

«Леса горели, гнили на корню и загромождались валежником и буреломом; болота заражали окрестность миазмами; дороги не просыхали в самые сильные жары; деревни ютились около самых помещичьих усадеб...» — так писал Салтыков в последнем своем, во многом автобиографическом романе «Пошехонская старина». «Мужицкая спина,— горько добавлял он,—

с избытком вознаграждала за отсутствие ценных угодий».

В этом краю, в селе Спас-Угол, в семье быстро богатевших помещиков Евграфа Васильевича и Ольги Михайловны Салтыковых 15 января 1826 года родился сын Михаил.

Евграф Васильевич в молодости жил и служил в Петербурге. Он мечтал быть определенным в свиту царя. Для этого пытался даже заручиться поддержкой всесильного временщика графа Аракчеева. В то же время он занимался литературным трудом, посвящал свой досуг механике и астрономии [1].

В Москве Евграф Васильевич познакомился с богатой купеческой дочерью Ольгой Михайловной Забелиной. Подав в отставку, он в 1816 году женится на ней и уезжает с молодой женой в почти уже разоренную родовую вотчину. Пройдет немного времени, и слабовольный, неудачливый Евграф Васильевич окажется в полном подчинении у своей властной супруги.

Усилиями Ольги Михайловны принадлежавшая Салтыковым вотчина сильно разрастается. К селу Спас-Угол присоединяются новые земли, постепенно скупаемые у менее состоятельных соседей. К середине 50-х годов семья владеет уже почти тремя тысячами крепостных душ. С каждым годом увеличиваются денежные доходы.

Представления о мужицкой спине и последнем мужицком соке, выжимавшемся неустанно, пришли к Михаилу, конечно, в зрелую пору. В детстве же его сильно задевали за живое безропотность образованного, слабохарактерного, набожного отца и властность маменьки, ее необыкновенно суровый нрав, ее бесконечные угрозы и наказания, не в последнюю очередь касавшиеся и детей. «В нашем семействе не было в обычае по головке гладить»,— читаем в «Пошехонской старине».

Маменькина жестокость нередко могла смениться отзывчивостью и добротой и так же, без всякой видимой

---

[1] Выразительную характеристику родителям будущего писателя, а также детским и юношеским его годам дал современный биограф Салтыкова С. А. Макашин, тщательно изучивший огромные архивные материалы. *Макашин С.* Салтыков-Щедрин. Биография. Изд. 2-е, доп. Т. 1. М., 1951.

причины, вновь восторжествовать. Такая неровность рождала страх. Страх из-за собственной незащищенности. Страх перед явной несправедливостью, которую болезненно чутко улавливал Михаил. Чуждый обычно детям яд сомнений рано пропик в его душу.

Михаил заметно выделялся среди своих братьев и сестер живостью характера. «Озорная, буйная голова, все шалит»,— жаловался своим приятелям Евграф Васильевич. Мать, требовавшая от детей покорности и послушания, сама от природы была необычайно деятельна, энергична. Рано проявившаяся независимость сына поначалу даже нравилась ей.

В годы домашнего обучения Михаила старшие его братья и сестры — Дмитрий, Николай, Надежда, Вера и Любовь — воспитывались в учебных заведениях Москвы. Дома оставались совсем маленькие Сергей и Илья. Позднее Салтыков припоминал, что одиночество в семье и отсутствие пристального надзора дали ему относительно большую свободу. Ведь сверстников в семье не было. Юный Михаил мог близко соприкасаться с жизнью дворовых слуг, крепостных мужиков и их детей. Почти каждого человека в деревне знал он в лицо, с каждым любил поговорить. «Крепостное право, тяжелое и грубое в своих формах, сближало меня с подневольною массою»,— запишет он через много лет.

Ольга Михайловна, ежедневно совершая хозяйские обходы усадьбы, часто брала с собой Михаила. Нечего, полагала она, подолгу оставлять ребенка с дворовой прислугой. А мальчик между тем во время обходов внимательно и напряженно вслушивался в разговоры матери с крестьянами, в ее суровые и властные распоряжения. Иногда родители брали его с собой в деловые поездки по многочисленным деревням, принадлежавшим им, и даже в Москву.

Всей семьей Салтыковы часто навещали соседей-помещиков, с которыми были в приятельских отношениях. Михаил подружился с сыном помещиков Юрьевых Сергеем. В будущем Сергей Андреевич Юрьев станет редактором-издателем журналов «Русская мысль» и «Беседа». Детская дружба с годами не исчезнет. Из воспоминаний С. А. Юрьева известно, что Салтыков сурово осуждал родителей и свое детство, которое считал ненормальным и даже безнравственным.

Крепостные няньки у детей менялись беспрерывно. Мать твердо держалась своеобразной системы, в силу которой крепостные, не изнывавшие с утра до поздней ночи на работе, считались дармоедами.

— Зажирела в няньках, ишь мясища-то нагуляла! — говорила она и, не откладывая дела в долгий ящик, быстро определяла няньку в прачки, в ткачихи или засаживала за пяльцы или прялку.

Ольга Михайловна разделяла своих детей на «любимчиков» и «постылых». Михаила она, скорее всего, не причисляла ни к тем, ни к другим. Обнаружилось это, когда пришло время обучать его грамоте. В то время как старшие учились в казенных московских заведениях, Михаила решено было образовывать «домашними средствами».

Долго будет он припоминать детский плач, беспрерывно раздававшийся за классным столом, целую свиту гувернанток, следовавших одна за другой и с непонятной жестокостью награждавших тумаками направо и налево. Телесные наказания во всех видах и формах, сдержанно пояснял позднее Салтыков, являлись главным педагогическим приемом.

Как бы там ни было, к шести годам Михаил бойко говорил на немецком и французском языках, а через год или два мог уже читать и писать по-русски.

Ученье, в котором было так мало притягательного, не могло захватить, увлечь его. Другое дело — книги. Едва узнав грамоту, мальчик пристрастился к чтению. Вскоре он сам пробует писать в подражание любимым поэтам.

На всю жизнь запомнилась и обстановка, в которой прошло детство: днем — небольшая классная комната, ночью — детская, тоже маленькая, с низким потолком. Тут стояло четыре-пять кроватей для детей, а на полу, на войлоках, спали няньки. Не было недостатка в клопах, тараканах и блохах. «Эти насекомые,— шутил позже писатель,— были как бы домашними друзьями, к которым только изредка прикасалась истребительная рука человека».

Но зато в помещичьем доме нельзя было встретить ни единой животной твари. С неподдельной грустью воскрешал Салтыков впечатления детства в первых главах «Пошехонской старины»: «...ни зверей, ни птиц

в живом виде в нашем доме не водилось; вообще ничего сверхштатного, что потребовало бы лишнего куска на прокорм. И зверей и птиц мы знали только в соленом, вареном и жареном виде...»

Трудно себе представить мир детства без сказки, без ее чудес, волшебных превращений, неизменной победы добра над злом.

Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей...

У Салтыкова не было своей Арины Родионовны. «Замечательно,— вспомнит впоследствии писатель,— что между многочисленными няньками, которые пестовали мое детство, не было ни одной сказочницы. Вообще весь наш домашний обиход стоял на вполне реальной почве, и сказочный элемент отсутствовал в нем. Детскому воображению приходилось искать пищи самостоятельно, создавать свой собственный сказочный мир, не имевший никакого соприкосновения с народной жизнью и ее преданиями, но зато наполненный всевозможными фантасмагориями, содержанием для которых служило богатство, а еще более — генеральство. Последнее представлялось высшим жизненным идеалом, так как все в доме говорили о генералах, даже об отставных, не только с почтением, но и с боязнью».

В «Пошехонской старине» Салтыков вспоминает, что свежий воздух был знаком детям только летом. Зимой их старательно закупоривали в четырех стенах. Форточек в доме, как правило, не водилось. В комнатах вечно бывало душно от жарко натопленных печей. Событиями становились воскресные поездки в церковь, расположенную неподалеку от усадьбы. При этом ребят закутывали так, что тяжело было дышать. И все это вместе называли «неженным» воспитанием. «Ни елки, ни праздничных подарков, ничего такого, что предназначалось бы специально для детей, не полагалось».

В пошехонском существовании было и нечто такое, что незаметно день за днем зловеще обступало человека. Обычным был гнев на повара, приготовившего, как казалось, пересоленное кушанье, гнев, сопровождавшийся присказкой насчет недосола на столе, а не-

ресола на спине. (Присказка быстро осуществлялась на деле.) Обычным был окрик на прислуживавших за столом лакеев:

«Что фордыбакой-то смотришь, или уж намеднешнюю баню позабыл?»

Или:

«Что словно во сне веревки вьешь — или по-намеднешнему напомнить надо?»

Господа «гневались», прислуга имела свойство «прогневлять».

Когда детям приходилось сталкиваться с прислугой, они видели испуганные лица и слышали одно и то же шушуканье: «барыня изволит гневаться», «барин гневаются».

Отношения эти были заведены, казалось, испокон веку. Основывались они, как иронически напишет вскоре Салтыков, на таком ошеломляющем своей несуразностью рассуждении: «Я человек, ты человек, следовательно, ты раб мой».

Дикое барство во всех его видах, от «невинных» пощечин до насильственных браков и молниеносной отдачи в рекруты, очень рано и очень сильно возбудило в нервном и впечатлительном юноше внутреннее, еще не осознанное сопротивление.

Читает Михаил по-прежнему много, но бессистемно, все, что попадает под руку. Представления о русских авторах у него случайные. Однажды он накинулся на евангелие, затерявшееся где-то в связках старых учебников и календарей. Его поразили новые мысли, новые слова, которые прежде не приходилось слышать. В воображении вставали фигуры униженных и оскорбленных, отчаянно противящихся несправедливости и злу. Возбужденная мысль невольно переносилась в девичью, на господский двор, где задыхались десятки поруганных человеческих существ. Тревожные ощущения вызывало евангелие. И дело было совсем не в пробуждении религиозных чувств. Нет, хозяйственный, деловой склад Ольги Михайловны, вся трезвая, грубая обстановка крепостного Пошехонья не оставляли места для истой религиозности. Церковь могла быть и была лишь средством давления на крепостных холопов. Но в евангелии говорилось о равенстве, о братстве людском... И здесь неправда. И здесь ложь. Тревожные

чувства рождали мысль о собственной причастности к безнаказанно совершающемуся насилию.

Подле господского дома разводились огороды и фруктовый сад. С конца июля и почти весь август с утра до ночи продолжалась «ягодная эксплуатация». Вареньям, наливкам, водицам, настойкам не было числа. И снова несправедливость: «...в свежем виде ягоды и фрукты даже господами употреблялись умеренно, как будто опасались, что вот-вот недостанет впрок. А «хамкам» и совсем ничего не давали; разве уж когда, что называется, ягоде обору нет, но и тут непременно дождутся, что она от долговременного стояния на погребе начнет плесневеть».

«Ты думаешь, как состояния-то наживаются?» — слова эти стали лейтмотивом пошехонского быта. «Это было своего рода исповедание веры, которому все безусловно подчинялись. Даже дворовые... и те внимали афоризмам стяжания не только без ненависти, но даже с каким-то благоговением».

Неистово гудящие полчища мух, плач и ропот крепостных «подлянок», да безмерная и бессмысленная жадность маменьки и заражавшегося ее хозяйственным рвением отца — все эти «картины того времени до того присущи моему воображению,— признавался Салтыков на склоне лет,— что я не могу скрыться от них никуда».

Проходят годы и десятилетия, а далекое Пошехонье не только не забывается, оно неотступно преследует писателя, живет в его памяти в мрачных, подчас зловещих картинах, звуках, красках.

ЛИЦЕЙСКИЙ МИР



В 1836 году Ольга Михайловна сама привезла Михаила в Москву и определила в старинный Дворянский институт.

Из рассадника образованности, гордившегося именами знаменитых выпускников своих: Фонвизина, Жуковского, Грибоедова, Вяземского,— институт превратился в подготовительную школу будущих «чистокровнейших» чиновников.

В памяти еще сохранялась его былая славная репутация. На практике же торжествовали «новейшие педагогические приемы». Инспектор, к примеру, во всех деталях, по ироническому замечанию Салтыкова, усвоил «вопрос о роли, которую должна играть «средняя часть тела» в деле воспитания юношества». Складывались, так сказать, новые традиции. По субботам секли провинившихся воспитанников. Очередных жертв помещали на скамейке посреди институтского зала. Двое дядек держали наказуемых за плечи и ноги. Инспектор бесстрастным голосом выкрикивал имена жертв, приговаривая: «за леность, за дерзость...». Дежурный «секутор» приступал к обязанностям.

В каждую такую субботу вызывали обычно до десяти человек.

Но с Дворянским институтом у будущего сатирика связывались не только мрачные воспоминания. Здесь начались у Михаила первые систематические занятия по русскому и иностранному языкам, по латыни, был привит вкус к отечественной словесности. Здесь произошло первое знакомство со стихами Лермонтова. Сильное впечатление оставляет у него поэзия Генриха Гейне. «Для меня это сочувственнейший из всех писателей. Я еще маленький был, — вспоминал Салтыков, — как надрывался от злобы и умиления, читая его».

Более определенно литературные пристрастия будущего сатирика стали проявляться позднее, когда по воле высшего начальства он был переведен в Лицей.

Каждые полтора года Дворянский институт отбирал двух кандидатов из числа лучших своих воспитанников и направлял их продолжать образование на казенный счет в Царскосельский лицей. В 1838 году выбор директора института пал на Михаила Салтыкова и его товарища Ивана Павлова. Оба они были признаны «отличнейшими по поведению и по успехам в науках» и 30 апреля под наблюдением старшего надзирателя отправились в Царское Село. Выдержав экзамены, оба кандидата были зачислены в Лицей.

Наши представления о Лицее неразлучны с именем Пушкина. Но те годы, что отделяют лицейскую пору жизни Пушкина от 1838 года, когда Салтыков был зачислен в первый класс, очень сильно переменили облик заведения. Лицей давно уже находился под присмотром военных чинов. Цель его исчерпывалась, по выражению Салтыкова, двумя словами: «приготовить чиновника».

Лицейское братство, зародившееся «под сенью дружных муз», «прекрасных лет первоначальны нравы: лицейский шум, лицейские забавы» — все это стало уже преданием. Все это по высочайшему повелению надлежало искоренить. Процесс искоренения продвигался успешно.

В Лицее был установлен жесткий режим. Ликвидировали отдельные комнаты для воспитанников. Прогулки по парку ограничивались строго отмеренным и дозволенным пространством. Повеяло казарменным духом.

Детально разрабатывалась система наказаний. Шкала наказуемых проступков постоянно пополнялась. Лицеистов карали за любое отклонение от нормы, от стандарта в одежде, в поведении, в характере занятий. Расстегнута, к примеру, пуговица на куртке — выговор наедине. Читаешь что-то внепрограммное, чем, по искреннему убеждению воспитателей, голову себе засоряешь, — выговор перед строем. Или, не дай бог, просто фантазируешь или предаешься праздным литературным упражнениям — за это новые лишения:

от кротких увещаний до «уединения» в карцере. А поскольку у Салтыкова отметка по поведению почти никогда не поднималась выше 9 (в Лицее существовала двенадцатибалльная система), то у него были особые счеты со зловещим лицейским карцером.

Все началось со стихов.

Позднее в своих «Письмах к тетеньке» он расскажет: «Сижу, бывало, в классе и ничего не вижу и не слышу, все стихи сочиняю. Отвечаю невпопад, а когда, бывало, мне скажут: станьте в угол носом! — я, словно сонный, спрашиваю: а? что?» Долго начальство доискивалось причин рассеянности и однажды-таки набрело на стихи. И с тех пор началось: «Тщетно я прятал стихи в рукав куртки, в голенище сапога — везде их находили... Поймают один раз — в угол носом! поймают другой раз — без обеда! поймают в третий — в карцер!»

Свидания с карцером запечатлелись у Салтыкова на всю жизнь. И много лет спустя он ясно видел эту темную и крохотную треугольную впадину в капитальной стене на четвертом этаже заведения: «...двигаться в этой конуре было невозможно, да, по-видимому, и не полагалось нужным... пахло отчасти потом, отчасти мышами».

Для будущего писателя «история о школьном карцере» незаметно и прочно связывалась со всей системой человеческих отношений в государстве Российском. Но убеждением это стало позже.

В Лицее Михаил увлекся сочинительством. Беспрерывно, «запоем» писал стихи. Ведь стихами можно передать то, что в другой, не поэтической речи обернется фальшью, выспренностью, оскорбительной банальностью. И конечно же, трудно не поддаться обаянию истинных талантов и гениев, а то и просто популярных, модных стихотворцев.

Салтыков, как полушутя скажет он о себе, «безразлично пародировал и Лермонтова и Бенедиктова; на манер первого, скорбел о будущности, ожидавшей наше «пустое и жалкое поколение»; на манер второго — писал послания «К Даме, Очаровавшей Меня Своими Глазами». Втайне мечтал о пушкинской славе. Кстати, на каждом курсе Лицея объявлялся очередной продолжатель Пушкина. В своем классе им

считался Михаил Салтыков. Стихи его, благодаря содействию ближайшего друга Пушкина П. А. Плетнева, появляются в серьезных «толстых» журналах «Библиотека для чтения» и «Современник». Возможность печататься рядом с выдающимися поэтами времени — В. А. Жуковским и П. А. Вяземским — для юноши это уже немалый успех.

Первым среди других было опубликовано стихотворение «Лира». Полвека спустя, вспоминая о своих поэтических опытах, Салтыков назовет это стихотворение «очень глупым». Сейчас же оно кажется ему и его сверстникам не лишенным совершенства. Впрочем, и по форме, и по другим стихотворным «показателям» салтыковская проба пера не выделялась на фоне множества прочих «средних» поэтических созданий. Благоговение перед памятью Пушкина вылилось у юноши в такие явно подражательные строки:

На русском Парнасе есть лира;
Струнами ей — солнца лучи;
Их звукам внимает полмира;
Пред ними сам гром замолчи!

За наивной романтикой салтыковских стихов часто проступало и нечто иное: «злая печаль». Шла она от увлечения Лермонтовым. Но к увлечению примешивалась мысль о разладе между тем, о чем по-юношески идеально грезилось, и тем, что упорно «подсовывала» казарменная лицейская жизнь.

В одном из стихотворений будущий сатирик почти перефразировал лермонтовскую «Думу». И была здесь не столько подражательная, или, иначе говоря, эпигонская беспомощность, сколько все та же суровая «злая печаль»:

Мы жить спешим. Без цели, без значенья
Жизнь тянется, проходит день за днем —
Куда, к чему? не знаем мы о том,
Вся наша жизнь есть смутный ряд сомненья.
Мы в тяжкий сон живем погружены.
Как скучно все...

О собственной грусти, печали, страданиях пишет Салтыков-лицеист. Это приводит начальство в крайнее недоумение, а порой и в ярость.

Товарищи же по Лицею, будущие помпадуры, как окрестит их Салтыков, загадочно переглядываются и насмешливо перешептываются: «Умник!»

Прозвище «умник» было далеко не почетным в заведении, отражавшем настроение тогдашнего, не любившего умников общества. Начальство преследовало их, воспитанники смотрели на них как на людей, занимавшихся несвойственными дворянскому званию занятиями. «Именно так взглянули мои товарищи на меня», — писал Салтыков много позже в незавершенном цикле «В больнице для умалишенных».

«Мы не умники! — говорили они, — мы стихов не пишем! мы умных книг не читаем!» — и не только не скорбели, но даже как бы гордились таким упрощенным взглядом на деятельность человеческого ума».

Прозвищами «умник», «чудак», «странный человек» награждали обычно тех, кто действовал несообразно норме. На Руси немало было примеров, когда воедино сливались понятия «умник» и «сумасшедший». Вспомните знаменитую реплику старухи Хлестовой из «Горя от ума»:

И впрямь с ума сойдешь от этих, от одних
От пансионов, школ, лицеев, как бишь их...

И не менее известное откровение Скалозуба:

Я вас обрадую: всеобщая молва,
Что есть проект насчет лицеев, школ,
гимназий;
Там будут лишь учить по-нашему: раз, два;
А книги сохранят так: для больших оказий.

Скалозуб оказался провидцем. С Лицеем, во всяком случае, вышло все так, как предсказывал грибоедовский полковник. В 1830 — 1840-е годы не было таких наставников и друзей, что просвещали юные умы в пушкинские времена, не было добрых и умных Куницыных, Галичей и Кошанских. Вряд ли кому из лицеистов пришло бы на ум искренне, от всей души воспевать своих педагогов, как это делали Пушкин и его сверстники. Теперь молодых людей «просвещали» бездарные, но благонамеренные педанты и схоласты, вроде профессора русского языка и словесности П. Е. Георгиевского. Его убогие учебники, по которым он из года в год читал свой курс, лицеисты издевательски

окрестили «большим и малым Пепиным свинством». С кафедры неслись проповеди во славу... кнута.

«Когда я был в школе, — писал сатирик в цикле очерков «За рубежом», — то в нашем уголовном законодательстве еще весьма часто упоминалось слово «кнут»... Орудие это несомненно существовало, и, следовательно, профессор уголовного права должен был так или иначе встретиться с ним на кафедре. И что же! выискался профессор (Салтыков явно метил в известного в свое время юриста профессора Я. И. Баршева, чьи лекции по уголовному праву ему пришлось слушать в Лицее. — *Е. П., В. П.*), который не только не проглотил этого слова, не только не подавился им в виду десятков юношей, внимавших ему... а прямо и внятно повествовал, что кнут есть одна из форм, в которых высшая идея правды и справедливости находит себе наиболее приличное осуществление».

Большинство воспитанников, повинуясь начальственным командам, действительно приучалось глядеть на школьные науки как на досадную «оказию» или, в лучшем случае, как на составную часть привилегий. Привилегии эти, настойчиво внушалось им, проводят «в жизни резкую черту; над чертою значились... люди досужие, правящие; под чертою стояло только одно слово: мужик. Вот, чтоб не очутиться на одном уровне с мужиком, и нужно было знать, что Париж стоит на реке Сене и что Калигула однажды велел привести в сенат своего коня».

А тут сыскался «умник»! Учится неровно, особого усердия не выказывает. Хотя бездельником и отпетым лентяем его никак не назовешь. Отлично знает языки. Не пропускает лекций по политической экономии и истории. Философ! Сочинитель!

Будущий писатель был далек от кичившихся аристократическим происхождением ровесников-лицеистов, часто сторонился их. Общие литературные интересы сблизили его с М. В. Буташевичем-Петрашевским, которому суждено было сыграть заметную роль в судьбе Салтыкова.

Классом ниже учился граф Д. А. Толстой, будущий министр народного просвещения. Через четыре десятилетия, в пору полновластия графа Д. А. Толстого, с его

ведома и благословения будет запрещен журнал Салтыкова «Отечественные записки».

Все же отзвуки былых пушкинских традиций доходили и до поздних поколений лицеистов. По рукам ходили чьи-то злые, антиправительственного содержания стихи, анонимные сатирические очерки. Тайком распространялся рукописный лицейский журнал «Вообще», в котором некоторые воспитанники помещали обличительные сочинения. Салтыков знал многих из них. С автором же памфлета «Поход в Хиву» А. М. Унковским сблизился, а позднее, уже по окончании Лицея, подружился на всю жизнь. Дружеские отношения были у будущего сатирика и с лицеистом В. П. Гаевским, который впоследствии станет известен своими работами о юном Пушкине. Приятельские отношения с В. П. Безобразовым, едва установившись, перейдут вскоре во вражду. Безобразов быстро сделает себе научную карьеру и прослывет верноподданным экономистом и публицистом. В Лицее Салтыков сохраняет старую московскую дружбу с И. В. Павловым. Способный и резкий, Павлов за дерзкий поступок исключается из Лицея и, не страшась окончательно скомпрометировать себя в глазах властей, сближается с московским кружком Герцена и Огарева.

В условиях, близких к казарменным, кое-кто из лицеистов умудрялся в тайне от начальства читать книги и журналы, составлять рукописные сборники (кроме упомянутого уже «Вообще» выходили «Лицей», «Столиственник»), писать стихи. Ко дню лицейского праздника, 19 октября, с увлечением готовились самодеятельные спектакли. Судя по сохранившейся от 1843 года афише, в одном из них участвовал Салтыков.

В Лицее его живо заинтересовали русские журналы, а в них — статьи критического и полемического содержания. По свидетельству современников, он нередко посещал известные в Петербурге собрания литераторов у М. А. Языкова. Здесь часто бывал и В. Г. Белинский.

Молчаливый юноша с большими, сурово смотревшими на мир серыми глазами обычно усаживался отдельно от прочих гостей, в соседней комнате, и оттуда угрюмо и внимательно вслушивался в разговоры. Как-то

Белинский зло поддел одного завсегдатая кружка, препустейшего, по его словам, человека, болтуна и фразера. Тот в ответ патетически воскликнул:

— Господи, зачем я вру!

— Мамка вас в детстве зашибла! — быстро отреагировал Белинский.

Писательница А. Я. Панаева вспоминала, что в первый раз она увидела, как на лице Салтыкова изобразилась улыбка.

Будущий сатирик воспитывался на статьях Белинского. Юношеские симпатии и увлечения во многом определили дальнейшую судьбу Михаила Евграфовича.

ЗНАМЕНИТЫЕ «ПЯТНИЦЫ»



В 1843 году в Лицее стал часто появляться бывший воспитанник Михаил Васильевич Петрашевский, а летом 1844 года, когда Лицей перевели в Петербург, на Петроградскую сторону, он просился даже на должность воспитателя. В просьбе ему было категорически отказано. Частые появления Петрашевского в Лицее объяснялись не одними дружескими привязанностями. Он не просто отдавал дань вежливости бывшим своим учителям и младшим товарищам. Он искал умных, благородных людей. Ведя пропаганду среди лицеистов, Петрашевский искал единомышленников. Это был уже опасный «умник». И, естественно, за ним неусыпно наблюдало III Отделение собственной его императорского величества канцелярии, или, проще говоря, государственная охранка.

Властей страшил талантливый мыслитель, пропагандист «зловредных» идей французских социалистов-утопистов — Фурье, Сен-Симона, Кабе. Пугал его жадный интерес к политической экономии, к истории. Начиналась пора, когда Франция, как скажет В. И. Ленин, «разливала по всей Европе идеи социализма» [1].

Салтыкова с Петрашевским showроднила схожесть характеров, общие литературные интересы. Для замкнутого, мрачноватого лицеиста новые встречи с Петрашевским, уже по окончании Лицея, перейдут из сфер чисто приятельских в иные, куда более серьезные и чреватые неприятными последствиями.

В 1844 году Михаил окончил Лицей. Его ждала обычная чиновничья карьера.

«Служил и писал, писал и служил вплоть до 1848 г.»,— вспоминал Салтыков в одной из своих

---

[1] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 1, с. 271.

лаконичных автобиографий об этой поре самостоятельной жизни.

Служил он в канцелярии военного министерства при князе Чернышеве. Снимал сперва комнату, а затем поочередно несколько небольших квартир в разных районах Петербурга. Благодаря способностям и трудолюбию повышался в должностях. И одновременно никак не мог выйти из долгов.

Дом военного министерства, расположенный в самом центре Петербурга, на Исаакиевской площади, с девяти утра заполнялся мелким чиновным людом. День за днем проходила сквозь канцелярский строй уйма бумаг по инженерным, провиантским и прочим хозяйственным делам, а также по делам политическим. Размеренно и четко шло увязывание и согласование их. А воображение рисовало какое-то загадочное царство теней, в котором суетились он и его сослуживцы, где могли разыграться бури в стакане воды и где все без исключения связывались «системой бесплодных ожиданий». Но больше всего Салтыкова раздражало то, что служба мешала ему писать. Устоявшийся быт и ежедневные чиновничьи бдения невероятно тяготили его. Задумчивый и малообщительный, он возненавидел службу.

Как и в годы учения, Салтыков продолжал часто бывать в театрах Петербурга, посещал гастрольные спектакли Щепкина. Искусство Щепкина и Мочалова оставляет в его памяти неизгладимый след. Несколькими годами раньше В. Г. Белинский писал, что «у нас идти в театр смотреть драму — значит идти смотреть Мочалова, так же как идти в театр для комедии — значит идти в него для Щепкина». Сам Салтыков вскоре назовет Щепкина знаменитым и полезным деятелем русской сцены, имя которого надолго останется в ее летописях. Эти суждения Белинского о таланте Щепкина, в недавнем прошлом крепостного, вызывали у Салтыкова и другие, горькие раздумья. Щепкин, по его словам, был одной из тех «даровитых русских натур, которые, несмотря на самые неблагоприятные условия, успевают-таки возвыситься над общим уровнем и умеют поставить себя в положение далеко не заурядное». Невольно приходила мысль о тех сотнях и тыся-

чах крепостных рабов, чьи таланты гибли в помещичьей неволе.

Театр отвлекал Салтыкова от каждодневной служебной сутолоки. Истинной отдушиной становились занятия литературой и философией.

Воспитанный на статьях Белинского, молодой Салтыков примкнул к одному из кружков, возникших в России в сороковые годы.

Сперва нерегулярно, а потом каждую пятницу на квартире у Петрашевского проходили собрания этого кружка. Именно собрания, а не только встречи добрых и старых друзей. И разговоры, как правило, шли не бессистемно, не хаотично, не праздно. Как и другие, Салтыков под влиянием этих разговоров заинтересованно штудирует социалистов-утопистов Запада, знакомится с философскими сочинениями Гегеля и Фейербаха.

В шумных и живых речах петрашевцы (так наречет их вскоре русская история) касались самых разнообразных вопросов политической и нравственной сферы. Они читали и детально разбирали книги по философии и политической экономии, вникали в литературу и эстетику. Они отвергали крепостное право, в мыслях посягали даже на верховную власть. А это уже было далеко за пределами дозволяемого.

С 1847 года в списках распространялось письмо Белинского к Гоголю. «Самые живые, — писал критик, — современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые есть». Особые надежды связывал Белинский в своем письме-завещании с отечественной литературой: в русском обществе «кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру [1], есть еще жизнь и движение вперед».

Позднее Салтыков скажет, что на проповеди Белинского, Грановского и других передовых деятелей 1840-х годов «откликнулась безвестная масса современной

---

[1] Татарская цензура — жестокая, свирепая цензура.

молодежи и, в свою очередь, сеяла горячее слово добра, человечности, любви. Сеяла на свой риск, не останавливаясь ни перед подозрительностью, которая встречала проповеднический подвиг, ни перед мыслью о пучине безвестности, в которой этому подвигу предстояло утонуть».

Салтыкова окрыляла радость идейного, дружеского общения. Посредником в этом общении с людьми кружка была мысль, смелая, откровенная, ищущая.

«Многолюбивым и незабвенным другом и учителем» своим назовет Салтыков Петрашевского. Кружковые беседы, «пятницы», растормошили, упорядочили, целенаправили и без того не дремавшее сознание вчерашнего лицеиста. Революция, будущее человечества, жизнь России и Западной Европы — эти острые, животрепещущие вопросы были у петрашевцев предметом обсуждений и споров. Будущий сатирик отдавался им с увлечением. «Мысли горели, сердца учащенно бились, все существо до краев переполнялось блаженством».

Однако в характере Салтыкова уже тогда проявлялось свойство, которое еще не раз скажется в течение всей его жизни. Он был бесконечно далек от прекраснодушной мечтательности. И одновременно никогда ни на минуту, как бы горько ни складывалась судьба, он не переставал искренне верить в конечное торжество человеческого разума и совести.

Натура его постоянно жаждала такого общественного дела, которое бы не оборачивалось пустой, хотя и звонкой фразой, но становилось бы реальностью. Его постоянный девиз: «Действовать, как можно больше действовать». Каждая, сама по себе хорошая, но неосуществленная или осуществленная дурно идея — это уже, в глазах Салтыкова, невосполнимая утрата. Споры, диспуты, рефераты — все это отлично, но Салтыкова занимает вопрос, как от всего этого перейти к настоящему делу.

Люди кружка, участники «пятниц», или, как они сами называли, «комитетов» и «сходок», даровитый и дерзкий критик Валерьян Майков, ученый-публицист Владимир Милютин, получивший уже тогда известность поэт Алексей Плещеев и другие «милы и симпатичны» Салтыкову. Всех их в этом небольшом кружке

объединяют поиски смысла жизни, ее законов. Они стремятся понять причины безвыходных противоречий, которые терзают человечество. Особенно близки Салтыкову взгляды В. Милютина. В своих экономических работах Милютин пытается докопаться до истоков растущего обнищания трудящегося человека.

И все же Салтыков остро сознает, что настоящее дело не в кружке, а вне его. Необходимо от романтических фраз и отвлеченных рассуждений, от книжных рецептов перейти к исследованию и осмыслению конкретной русской жизни.

Интерес в сороковые годы к вопросам воспитания, споры об этом на «пятницах» Петрашевского захватывают и Салтыкова. Его пленяет идея социалистов-утопистов о полном, свободном и гармоничном развитии человека. Необычайно живы еще и собственные воспоминания о тогдашних педагогических приемах, о кнуте и лицейском карцере.

С помощью друзей Салтыков становится сотрудником передовых журналов той поры — «Отечественных записок» и «Современника». Здесь ему поручают заняться «писанием рецензий». Это были преимущественно отзывы на детские и учебные издания. Откликаясь на новые книги, Салтыков пишет о воспитательном значении художественной литературы, которая пробуждает в людях сознание своих сил. Молодой критик намекает на противоестественность крепостного права, уродующего человеческие души. Он подвергает резкой критике рутинные методы обучения юношества. Давая ученикам какую-то сумму знаний, казенная школа совсем не учит думать самостоятельно. А от этого человек, сошедший со школьной скамьи с тяжелым грузом разных сведений, оказывается при первом столкновении с жизнью в полной растерянности, а при первом несчастии «упадает духом».

Напряженные духовные искания Салтыкова запечатлелись в ранних повестях — «Противоречия» и «Запутанное дело». Опубликованы они были в журнале «Отечественные записки», первая — в ноябре 1847 года, под псевдонимом М. Непанов, вторая, подписанная инициалами М. С., — в марте 1848 года.

Повесть «Противоречия» примечательна своими откликами на философские споры времени, на все те

вопросы, что так горячо обсуждались в дружеском кругу единомышленников (не случайно она посвящена Владимиру Милютину). Герой ее, Нагибин, бьется над волновавшей самого писателя мыслью: как одолеть пропасть, отделяющую жизнь от идеалов. У Нагибина уже есть представления о том, какой должна быть жизнь. Они подсказаны теориями социалистов-утопистов.

Жизнь, эта «стоглавая гидра, которая зовется действительностью», оборачивается к салтыковскому герою своими мрачными, давящими, стесняющими душу сторонами. Нагибин горько чувствует разрыв между тем, что есть в жизни и как могло бы быть. Он мучительно переживает раздвоение «теории и практики, идеала и жизни».

Россия в те годы жадно ищет правильной революционной теории. Повесть Салтыкова доносит тревожную страстность поисков, которые вели люди сороковых годов, ощутившие потребность дела, почувствовавшие недостаточность прекраснодушных утопических мечтаний.

Автор «Противоречий» укрепился в мысли, что передовым людям никак не пристало жить одной мечтой о золотом веке. Им нужно дело делать. Но в чем должно заключаться это дело, было неясно. Повести ответа на этот вопрос не давали.

Первые опыты молодого Салтыкова в прозе примкнули к так называемой «натуральной школе» в русской литературе. Творческие принципы этой школы провозгласил Белинский. Писателей натуральной школы объединяла общая, хотя и по-разному осуществлявшаяся цель — сокрушение крепостного права в стране. Не случайно на знамени этого демократического литературного направления написано было имя автора «Мертвых душ» и «Ревизора». Гоголевские персонажи разоблачали себя своею же собственной ничтожностью, уродством, пошлостью.

— Чему смеетесь? над собой смеетесь!.. — слова Антона Антоновича Сквозника-Дмухановского в равной степени обращены и ко всей губернской братии, и к почтенным зрителям комедии, короче, ко всем, у кого «рожа крива».

Гоголь сравнительно редко показывает непосредственное воздействие городничих, земляник, хлестаковых, собакевичей на жизнь других людей, «маленьких», бедных, забитых. Вспомним мы здесь лишь, пожалуй, Акакия Акакиевича Башмачкина из «Шинели» и Аксентия Ивановича Поприщина из «Записок сумасшедшего».

Писателей натуральной школы интересуют прежде всего те, кто страдает от краснобайствующего Манилова, дубинноголовой Коробочки, лихого, бесшабашного Ноздрева или славных миргородских мужей Ивана Ивановича Перерепенки и Ивана Никифоровича Довгочхуна. Последователи Гоголя, продолжая традиции его «Шинели», сосредоточили все свое внимание на «маленьких людях», униженных и оскорбленных, на жертвах крепостных порядков.

Герой другой повести Салтыкова — «Запутанное дело» — один из таких маленьких людей. Он сполна испытал горечь нужды и унижений в холодном чиновном Петербурге: «Обстоятельства-то Ивана Самойлыча были так плохи, так плохи, что просто хоть в воду. Россия — государство обширное, обильное и богатое — да человек-то иной глуп, мрет себе с голоду в обильном государстве!» Судьба Мичулина сближает его и с пушкинским Самсоном Выриным, станционным смотрителем, и с тем же гоголевским Акакием Акакиевичем, и в особенности с Макаром Девушкиным из повести «Бедные люди» Ф. М. Достоевского.

Но Иван Самойлыч Мичулин не повторяет своих предшественников. У тех вы не найдете свойственного салтыковскому герою глубокого ощущения жизненной несправедливости. «Что же за доля моя горькая, — думал Иван Самойлыч, всходя по грязной и темной лестнице в четвертый этаж, — ни в чем-то мне счастья нет...» В Мичулине активно проступает политическое сознание, зовущее к возмущению. А это уже новый мотив в поведении маленького человека. И не такой уж он «маленький», думает Салтыков.

Герою повести снится горячечный сон. Современное общество представляется ему в виде громадной, чудовищной пирамиды. У основания ее копошатся полураздавленные толпы простолюдинов. Над ними громоздятся привилегированные сословия. Мичулин

«увидел в самом низу необыкновенно объемистого столба такого же Ивана Самойлыча, как и он сам, но в таком бедственном и странном положении, что и глазам не хотелось верить». В передовой литературе Запада, в частности в сочинениях французского утопического социалиста Сен-Симона и его последователей, уподобление человеческого общества сословной пирамиде было очень распространенным. У Салтыкова это уподобление оформилось в бичующий революционный образ.

Сон Мичулина о пирамиде сыграл роковую роль в жизни молодого писателя. Этот эпизод повести стал одним из главных пунктов обвинения, которое предъявили Салтыкову цензоры. Блюстители литературной благонамеренности не без оснований нашли, что «в этом сне нельзя не видеть дерзкого умысла — изобразить в аллегорической форме Россию».

Сохраняя следы литературного ученичества, первые салтыковские повести уже предуготовили будущего сатирика. Символическая картина передавала здесь значительные идейные обобщения. Иносказание, ирония, публицистическая манера рассказа, интерес к судьбам русского общества, его «противоречиям» и «запутанным делам» — все эти свойства сатирического гения впервые обнаружились уже в ранних вещах Салтыкова.

Его повести сочувственно были приняты современниками, особенно молодежью. Заинтересовали они и особый секретный комитет, учрежденный для полицейского надзора за печатью. III Отделение и сам царь, напуганные и озлобленные февральской революцией 1848 года во Франции, увидели в «Запутанном деле» «вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу и ниспровергших власти и общественное спокойствие».

Бывший лицеист вновь умничал. Умничал дерзко, вызывающе. Прошла для него пора карцера. Система наказаний включала теперь иные, более длительные и чувствительные кары. Арест, например, и ссылку.

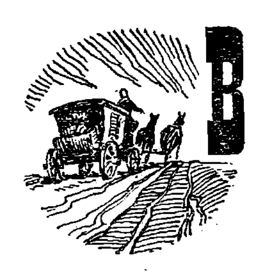
В «Запутанном деле» цензоры усмотрели «некоторое увлечение коммунистическими и западными рево-

люционными идеями». И хотя насчет автора признавали, что «с летами взгляд его может отрезвиться», тем не менее настаивали на том, чтобы ускорить процесс отрезвления. Для сего надлежало уволить Салтыкова из канцелярии и выслать на службу в одну из северных российских губерний.

Молодого крамольного литератора 21 апреля 1848 года арестовывают и вскоре без промедлений отправляют в сопровождении жандармского штабс-капитана на обязательную службу в Вятку. Здесь по предписанию губернатора за молодым чиновником должен быть учрежден строгий надзор полиции с периодическим представлением сведений о его образе жизни.

Позднее Салтыков найдет много остроумных обозначений для подобной ссылки: акклиматизация, жизнь в краях, куда Макар телят не гонял, или, наконец, вынужденная поездка в места не столь отдаленные. Ссылка длилась почти восемь лет.

В МЕСТАХ НЕ СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫХ



Вятское житье Салтыкова выглядело не совсем так, как обычно представляется ссылка: дикие, необжитые места, полуголодное существование.

Поселился он в центре города, в небольшом особняке. Окна кабинета Михаила Евграфовича выходили в один из тех самых садов, что составляли гордость старожилов. С Салтыковым был неразлучный с ним крепостной дядька Платон. Появился экипаж и пара лошадей, а с ними, разумеется, и кучер. Костюмы Салтыков шил у дорогих петербургских портных. Со временем довольно часто устраивались им званые обеды для приятелей по службе. Самое тяжелое заключалось в другом. Его окружал чужой, незнакомый мир, в котором внезапно заброшенный злой волей человек испытывал безысходное отчаянье. «Кто живал в Вятке, — скажет Салтыков, — тот не скоро охотно согласится возвратиться в нее».

Негостеприимно смотрели каменные палаты купцов. Угрюмый звук цепей сопровождал редко отворявшиеся ворота. Казалось, за этими тяжелыми воротами не трепещут сердца, не звучит ни одна живая струна. Словно живут там люди «с потухшими взорами, с дрожащими телодвижениями», равнодушно взирающие на добро и зло. Вечерами глубокая тишина прерывалась лишь лаем спущенных с цепи псов. Сплошная мгла. В окнах дрожал слабый свет лампадок. То же ощущение не покидало Салтыкова, когда начались его служебные поездки по глухим провинциальным городкам. Та же мертвенная тишина, та же темень и тоска.

В письме к брату он признавался: «... для меня моя участь с каждым днем делается все более и более несносною; я изнываю и нравственно и физически, и не

знаю, к чему я буду способен, если это пленение души моей будет продолжительно».

Молодого литератора на первых порах определили переписывать бумаги. За десять лет до него в той же Вятке отбывал ссылку А. И. Герцен. О своей подневольной службе он вспоминал: «...я приходил иной раз домой в каком-то отупении всех способностей и бросался на диван, изнуренный, уничтоженный и неспособный ни на какую работу, ни на какое занятие... и когда мне приходило в голову, что после обеда опять следует идти и завтра опять, мною тотчас овладевали бешенство и отчаяние...»

Изнуряющее однообразие работы угнетало. Эта канцелярская сутолока — бессмысленная, глупая потеря времени. Обстоятельства складываются таким образом, пишет Салтыков из Вятки, что «вся жизнь моя постоянная и нестерпимая мука».

Через полгода Салтыкова повысили в должности и из младшего чиновника перевели в чиновники особых поручений при вятском губернаторе. Служебная деятельность вышла за пределы четырех канцелярских стен. Молодому чиновнику велят проводить дознания о драках, случавшихся после семейных торжеств, о мелких взятках и растратах в губернских учреждениях, о злоупотреблениях в полиции, совершавшихся, в частности, при заготовке арестантской одежды.

«Найти такого рода службу, — пишет Салтыков по истечении первого вятского года, — где был бы на своем месте и труд был бы привлекателен, довольно трудно, если не совершенно невозможно».

Салтыков по уму, образованию, по духовным интересам на голову превосходил и своих сослуживцев, и весь цвет губернского общества. На службе он держал себя совершенно независимо. Ни тени робости и страха перед высшими чинами. С ними поднадзорный писатель вел себя на равных, высказываясь по делам службы прямо и резко. Неподкупность Салтыкова удивляла окружавших его чиновников. «Никогда рука моя не осквернится взяточничеством»,— говорил он, а это уж было наредкость странно для тех, кто не мыслил себе службы без «посторонних доходов».

Через полтора года ссылки над Салтыковым нависла угроза политической расправы. В 1849 году в Петер-

бурге Николай I учиняет разгром кружка Петрашевского. Небывалая по размерам волна обысков и арестов прокатывается по столице. Призван к допросу и Салтыков. На предложенные вопросы о характере связи с Петрашевским он отвечает нарочито наивно, уходя в область безобидных и отвлеченных рассуждений и замечая, что «обдуманного желания распространять вред» у него нет и не было.

Новых наказаний недавнему участнику «пятниц» Петрашевского не последовало. Настороженность губернатора Вятки А. И. Середы в отношении к Салтыкову сравнительно быстро прошла.

Мало того, когда летом 1850 года открылась вакансия советника в губернском правлении, Салтыков был назначен на эту должность. Новая работа давала возможность часто бывать в длительных разъездах.

Неутомимо и изобретательно принимается он за разоблачение взяточников, лично ревизует массу уездных учреждений. Учащаются его поездки по обширному северному краю. Салтыков становится устроителем одной из самых больших в России сельскохозяйственных выставок, которая открылась в Вятке в конце лета 1850 года.

Немало хлопот приносит вятским землевладельцам молодой чиновник. В глухих местах провинции вспыхивают очередные крестьянские волнения. И вот Салтыков снова отправляется в путь, приезжает в беспокойную деревню и на равных ведет переговоры не только с «потерпевшим» хозяином, но и с мужиками. Да еще, по долгу службы уговаривая не бунтовать, не скрывает своего сочувствия к их требованиям, дает доходчивые и вразумительные советы, обещает действенную помощь. А по возвращении в Вятку он пробует заступиться за права обездоленных мужиков, не встречая ничего, кроме недоумения и неудовольствия вышестоящих чинов.

Ему поручают составление губернских отчетов, и он, вместо обычного очковтирательства и пышных докладов о дальнейшем процветании края, принимается за точные цифры, факты, тщательно живописуя недостатки управления.

Производя следствие по делам раскольников, Салтыков исколесил Вятскую, Пермскую, Казанскую, Ни-

жегородскую и Ярославскую губернии. Он наблюдает быт служивого дворянства и купечества, жизнь работных людей Приуралья и крестьян северных областей России. Он близко узнает трудовой народ, его нужду, его невообразимые страдания. Богаче и сложнее становятся представления Салтыкова о «рассейской» действительности. В будущем впечатления этих лет, бесспорно, окажут «благодетельное влияние» на сатирическое творчество писателя.

Но было в многолетнем вятском плену нечто такое, что, пожалуй, страшнее всего на свете, это — никак и ничем не восполнимое чувство безнадежного одиночества. Представьте себе человека, чья юность прошла в живом общении с приятелями, который, едва выйдя за порог Лицея, попадает в атмосферу непрекращающихся диспутов, споров, встречается с думающими, мыслящими людьми, находится в центре передовых интересов. И вдруг внезапно очутиться в глуши, где на всю округу трудно сыскать хотя бы одного человека, который бы понял тебя, искренне посочувствовал, хотя бы одного толкового собеседника. «Вместо того, чтобы привыкнуть к Вятке, — пишет Салтыков, — я все более и более скучаю, так что иногда состояние мое делается для меня в полном смысле невыносимым».

Никуда нельзя было деться от неизбежного и непременного общения с бесившей Салтыкова провинциальной знатью, с миром «ябеды и клеветы». В письме к брату он еще находит в себе силы признать провинциальную жизнь великой школой. И одновременно с горечью замечает: «...я отдал бы половину всей моей остальной жизни, чтобы хоть этою ценою откупиться от этой школы, полной клеветы и оскорблений».

Салтыков болезненно ощущает, как не сразу, а день за днем, воровски подкрадываются к человеку провинциальные вонь и грязь. Как в одно прекрасное утро он с изумлением ощущает себя сидящим по уши во всех крошечных гнусностях и дешевых злодействах, которыми изобилует жизнь маленького городка. Отбиться от них нет никакой возможности: «...они, как мошки в Барабинской степи, залезают в нос и уши и застилают глаза».

Постепенно и прочно одолевает скука. Скука и яростное желание бежать хоть куда-нибудь от этой

«непотребной Вятки», от ее бесконечных сплетен, шпионств и гадостей. Бежать из Вятки, где рта нельзя раскрыть, чтобы не стали рассказывать о тебе самые вздорные небылицы. «Живут здесь люди, — скажет он, — одними баснями да сплетнями, от которых порядочному человеку поистине тошно делается».

Первоначальные надежды на скорое освобождение не оправдываются. Салтыков предпринимает отчаянные попытки вырваться, вырваться во что бы то ни стало. Это желание становится лейтмотивом всей вятской ссылки. Опальный чиновник жаждет скорейшего пересмотра своего дела.

Высочайший ответ неизменно оказывается кратким: «Рано». И снова тянутся нескончаемые дни, заполненные службой, зваными обедами, пикниками, картами. Начинает даже закрадываться страшная мысль, не придется ли «остаться в Вятке на целую жизнь». «Эта перспектива до того ужасна, — пишет Салтыков брату в феврале 1852 года, — что у меня волосы дыбом становятся при одной мысли об ее осуществлении. Надобно знать, что такое за город Вятка, чтобы понимать всю горечь моего положения».

Как же противостоять растлевающей силе провинции? Ведь она, казалось, вот-вот сломит «энергию мысли, энергию воли». Нужно служить, служить дельно, неподкупно. «...Я службу свою, — писал он в эти годы брату, — считаю далеко не бессмысленною в той сфере, в которой я действую, хотя уже по одному тому, что служу честно». Ему претила сама идея примирения с тем политическим строем, о будущей погибели которого так недавно еще и так горячо и возвышенно он мечтал в Петербурге.

В последние вятские годы к ссыльному писателю пришло счастье. Он полюбил дочь вице-губернатора А. П. Болтина Лизу, «добрую и неприхотливую девочку». «То была первая, свежая любовь моя,— напишет он в несомненно автобиографическом очерке «Скука», — то были первые сладкие тревоги моего сердца!

Эти глубокие серые глаза, эта кудрявая головка долго смущали мои юношеские сны».

С Лизой он проводил вечера, специально для нее и ее сестры Анны составил «Краткую историю России»,

занимался с ними русской словесностью. Лиза стала для него «радостью и утешением».

Ольга Михайловна без всякого энтузиазма встретила желание сына жениться на Лизе Болтиной. За невестой не было приданого, а последнее обстоятельство никак не входило в расчеты пошехонской помещицы. Два года настойчиво пыталась она расстроить предполагавшуюся женитьбу, грозилась отказать в помощи.

Но сын и не подумал уступить. В мае 1855 года Салтыков писал брату: «Не знаю... не будет ли мне тяжело жить вдвоем при моих ограниченных средствах; знаю только, что до бесконечности люблю мою маленькую девочку и что буду день и ночь работать, чтобы сделать ее жизнь спокойною». Родные с откровенным неудовольствием встретили свадьбу Михаила, состоявшуюся уже в Москве летом 1856 года.

Пока же вятское житье по-прежнему продолжалось и сильно омрачало Салтыкову предстоящую женитьбу.

«Седьмой год уж я страдаю, — жаловался Салтыков брату в 1854 году, — и как горько для меня изгнание — один бог знает. В самой Вятке уже все вокруг меня переменилось; один я остаюсь без всякой надежды на перемену моего положения к лучшему... Без ужаса я не могу представить себя в Вятке стариком...»

Это были годы неудачной для России Крымской войны. Власти направляли в Крым все новые ополчения из разных краев империи. У Салтыкова родилась мысль записаться в ополчение и такой ценой вырваться из Вятки.

Но освобождение из вятского плена наступило для Салтыкова иначе. По делам ополчения в Вятку приехал генерал-адъютант П. П. Ланской, приходившийся двоюродным братом министру внутренних дел. Ланской, женатый на вдове Пушкина Наталье Николаевне, принял участие в судьбе Салтыкова. В семье Ланских вместе с памятью о великом поэте были живы и симпатии к литераторам, к их труду. Наталья Николаевна, как рассказывают мемуаристы, упросила мужа помочь ссыльному писателю, с которым познакомилась в одном из вятских домов. Ланской сопроводил очередное представление об освобождении Салтыкова частным письмом к брату. И, наконец, 6 ноября 1855 года министр Ланской известил губернатора Вятки о высочайшем

повелении нового царя Александра II: «Дозволить Салтыкову проживать и служить, где пожелает».

Салтыков устоял. Устоял против развращающего душу провинциального мира скуки и серости. Устоял против растлевающего, как сам он определил, воздействия вятской ссылки. Ради служебной карьеры он не отказался от благородных надежд юности.

Из Вятки возвращался не раскаявшийся и отрезвевший чиновник. (А ведь на это только и рассчитывали власти.) В столицу вернулся несломленный писатель, располагавший огромным запасом впечатлений, которые только ждали своего образного воплощения.

РОЖДЕНИЕ ЩЕДРИНА



едрин объявился на Руси внезапно. Вряд ли кто-нибудь из читателей помнил подражательные стихи юного лицеиста. Много лет прошло и со времени появления первых салтыковских повестей. О них помнили только в кругу людей, близких Чернышевскому и Добролюбову. В широкой же публике тщетно было услышать в те годы о сочинителе Михаиле Салтыкове. Когда же в 1856—1857 годах появились в печати его «Губернские очерки», они сразу же произвели огромное впечатление. Имя Щедрина, героя этой повести, стало быстро известно всей читающей России.

Николай Иванович Щедрин, чиновник, недавно еще слывший человеком порядочным («не пил, не объедался, не спал после обеда, трудился и надеялся»), приезжает по делам в провинциальный город Крутогорск. С этого и начинается его литературная биография.

«Въезжая в этот город, вы как будто чувствуете, что карьера ваша здесь кончилась, что вы ничего уже не можете требовать от жизни, что вам остается только жить в прошлом и переваривать ваши воспоминания.

И в самом деле, из этого города даже дороги дальше никуда нет, как будто здесь конец миру».

В последнем Николай Иванович Щедрин ошибся. Въехав в чуть торжественном и иронически приподнятом настроении в Крутогорск, он одновременно, сам того не ожидая, нашел кратчайший, верный путь к русскому читателю. Никому почти не известное в литературном мире имя Салтыкова скоро сделалось популярным. К нему прибавилось другое слово, короткое, ехидное и одновременно доброе — Щедрин. Начиная с 1856 года Н. Щедрин — это и постоянный псевдоним

Салтыкова, и один из главных его сатирических персонажей, от имени которого часто идет повествование.

Исследователи и мемуаристы немало гадали, откуда взялось это приложение, неотделимое от первоначальной фамилии. Одни припоминали, что в Пошехонском краю и посейчас живут, как и жили исстари, крестьянские семьи Щедриных. Фамилию эту Салтыков, мол, должен был еще в юности слыхать. Другие считают, что литературное имя Салтыкова заимствовано у встреченного им на вятских дорогах 74-летнего старца раскольника Трофима Тихоновича Щедрина. Сын писателя в книге, изданной уже в советское время, свидетельствовал об ином: псевдоним Салтыкову, по-видимому, еще в Вятке предложила Лиза Болтина, впоследствии ставшая его женой.

Сейчас уже трудно с полной уверенностью принять какой-либо из этих вариантов. Важно другое: объявилось в русской словесности новое имя и сразу встало в ряду тогдашних литературных знаменитостей — Тургенева, Л. Толстого, Гончарова, Некрасова, Григоровича.

Писательница А. Я. Панаева позднее вспоминала: «В 1857 году появились «Губернские очерки» под псевдонимом Щедрина, и с тех пор расположение читающей публики к произведениям Щедрина росло, как говорится в сказках, не по дням, а по часам».

Читающая публика заговорила о новом сатирике как о наследнике Гоголя. Как и всякое талантливое и своевременное явление искусства, очерки вызвали массу подражателей. «Записки надворного советника Щедрина» породили целое литературное направление. Именовать его стали обличительным. Многие читатели упивались либеральной смелостью авторов, старавшихся подражать Салтыкову-Щедрину, а на деле страшно далеких от него, чуждых самому духу щедринской сатиры. В обилии появляются пьесы, повести, очерки, в которых идеальные чиновники неизменно с успехом одерживают победы над чиновниками дурными, берущими взятки, поворовывающими и т. д.

В чем же причина быстрого признания «Губернских очерков»? В их злободневности, в открытом и резком неприятии крепостного права. Это по-прежнему был

первый пробный вопрос, которым определялась общественная позиция каждого подданного российской империи.

Главная опора самодержавия — дворяне-помещики, сановные бюрократы — стала основным объектом щедринского обличения.

Перед нами дореформенная провинция. Действие совершается в исконно русских местах. Здесь и трактир, и купеческая лавка, и помещичья усадьба, и острог, и ярмарка, и особняк губернского администратора.

Нелепа и смешна жизнь хозяев Крутогорска. Глупы, хотя и полны претензий, их праздные разговоры:

«— Сегодня отличная погода,— говорит Порфирий Петрович, обращаясь к ее превосходительству.

Ее превосходительство слушает с видимым участием.

— Только жарко немножко-с, — отзывается уездный стряпчий, слегка привставая на кресле, — я, ваше превосходительство, потею...

— Как здоровье вашей супруги? — спрашивает ее превосходительство, обращаясь к инженерному офицеру с очевидным желанием замять разговор, принимающий слишком интимный характер.

— Она, ваше превосходительство, всегда в это время бывает в таком положении...

Ее превосходительство решительно теряется.

Общее смущение.

— А у нас, ваше превосходительство, — говорит Порфирий Петрович, — случилось на прошлой неделе обстоятельство. Получили мы из Рожновской палаты бумагу-с. Читали мы, читали эту бумагу — ничего не понимаем, а бумага, видим, нужная. Вот только и говорит Иван Кузьмич: «Позовемте, господа, архивариуса, — может быть, он поймет». И точно-с, призываем архивариуса, прочитал он бумагу. «Понимаешь?» — спрашиваем мы. «Понимать не понимаю, а отвечать могу». Верите ли, ваше превосходительство, ведь и в самом деле написал бумагу в палец толщиной, только еще непонятнее первой. Однако мы подписали и отправили.

Общий хохот».

Обратите внимание на реакцию толпы чиновников, окружающих «ее превосходительство», супругу самого князя Чебылкина: «общее смущение», «общий хохот». Исчезают конкретные лица. Появляются *собирательные* характеры.

Салтыков-Щедрин сатирически резок, когда знакомит читателя с миром официальным, со всеми разрядами провинциальной администрации. Он не скупится здесь на обличительные краски. Вот в пестрой веренице персонажей появляется городничий Фейер, бездумно преданный начальству, одним своим видом способный нагонять страх на подчиненных. Напишет ему из губернии высшее начальство, что, мол, к именинам рыбу нужно сыскать, «да такая чтоб была рыба, кит не кит, а около того. Мечется Фейер как угорелый, мечется и день и другой — есть рыба, да все не такая, как надо: то с рыла вся в именинника вышла, скажут: личность; то молок мало, то пером не выходит, величественности настоящей нет... Задумается Фейер, да и засадит всех рыболовов в сибирку. Те чуть не плачут.

— Да, помилуй, ваше благородие, где ж возьмешь эку рыбу?

— Где? А в воде?

— В воде-то, знамо дело, что в воде; да где ее искать-то в воде?

— Ты рыболов? Говори, рыболов ли ты?

— Рыболов-то я точно что рыболов...

— А начальство знаешь?

— Как не знать начальства: завсегда знаем.

— Ну, следственно...

И являлась рыба, и такая именно, как быть следует, во всех статьях».

Усердие городничего не знало пределов. Да и купцы и мещане, помаявшись с ним лет десять, под конец полюбили его: «Нам, говорят, лучше городничего и желать не надо! Привычка-с».

Взгляд сатирика останавливается не только на сценах произвола и беззакония, не только на характерах мошенников-купцов или злодеев-чиновников. В особый раздел Салтыков-Щедрин собирает в «Губернских очерках» зарисовки так называемых «талантливых натур» или «провинциальных Печориных». И это совсем не карикатуры или пародии на известных героев Лермон-

това, Тургенева, Герцена. Ведь в прежние десятилетия «лишние люди» с их неуспокоенностью, с их сомнениями, с их аналитическим умом, воплотили в себе образ передового современника. С середины же пятидесятых годов, когда в стране нарастал новый, невиданный до сих пор общественный подъем, в эти новые времена активного действия «лишние люди» оказались несостоятельной силой. Байбаки[1], принимающие позу непонятых, страдальцев, облачась в домашний халат, бродили по комнатам и от нечего делать посвистывали или, пропитавшись желчью, превращались в постоянных губернских злопыхателей, в маленьких местных Мефистофелей. А то и еще лучше устраивалась их судьба: они торговали лошадьми, предавались картежным развлечениям, напивались до самозабвения. С трудом восстанавливая на досуге свое прошлое, былые увлечения молодости, они вновь начинали плетение словес, пускали в ход слова, одни только убаюкивающие совесть слова: «... помнишь ли Мочалова в «Гамлете»? *Умереть — уснуть... башмаков еще не износила...* и этот хохот, захватывающий дыхание в груди зрителя... — восклицает в «Губернских очерках» один из этих «талантливых», Лузгин. — Вот это жизнь, это сфера безграничная, как самое искусство, разнообразная как природа!.. А что мы теперь?.. выпьем!..»

На глазах сатирика вырождался тип «лишнего человека», утрачивая все, что делало его привлекательным в прошедшие времена. Помещичий быт, безделъничество погубили его окончательно.

Салтыков-Щедрин беспощаден, когда касается «мира зловоний и болотных испарений, мира сплетен и жирных кулебяк». И наоборот, тон его повествования совершенно меняется, когда взор падает на жителей курной крестьянской избы, покорно выносящих рекрутчину, казенные тяготы, подневольный труд. Салтыков-Щедрин далек от любования народным долготерпением и кротостью. Истоки крестьянского смирения видятся ему в вековой неволе, голоде и невежестве или, говоря двумя словами, все в том же крепостном праве.

---

[1] Байбак *(переносн.)* — неповоротливый, ленивый человек, бездельник.

«...Действительность,— пишет Салтыков-Щедрин в очерке «Скука»,— представляет такое разнообразное сплетение гнусности и безобразия, что чувствуется невольная тяжесть в вашем сердце... Кто ж виноват в этом? Где причина этому явлению?

— В воздухе...»

И хотя кончались «Губернские очерки» сценой похорон, и печальная траурная процессия хоронила «прошлые времена», то есть все дореформенные порядки, тем не менее оснований для оптимистических выводов не было. Ведь в усталом воображении рассказчика эти самые «прошлые времена» хоронят те же превосходительства, те же городничие и заседатели, те же «примадонны и солисты крутогорские». А позади всех по-прежнему бредет в одиночестве бедная Аринушка, «безустанно помахивая клюкою».

Весной 1856 года с первыми «Губернскими очерками» познакомился И. С. Тургенев. Злые и остро социальные очерки, первоначально предназначавшиеся для «Современника», Тургеневу не понравились. Отзыв Тургенева и, не в последнюю очередь, цензурные опасения (или, как говорил Н. А. Некрасов, «обстоятельства, которые в России принято называть независящими от редакции») заставили Некрасова отказаться от публикации «Губернских очерков» в «Современнике». С августа 1856 года очерки за подписью Н. Щедрина стали появляться в журнале «Русский вестник» под редакцией М. Н. Каткова, тогда еще окончательно не порвавшего с былыми либеральными увлечениями.

Цензура заметно покалечила щедринский текст. Вскоре же, в ноябре 1857 года, запрещена была к постановке комедия Салтыкова-Щедрина «Смерть Пазухина», за месяц до этого опубликованная на страницах «Русского вестника». В «Смерти Пазухина» впервые, пожалуй, на отечественной сцене генералы и статские советники выводились настоящими ворами, без стеснения забирающимися в чужой сундук.

Продолжая традицию «Ревизора», сатирик начисто устраняет из своей пьесы положительные персонажи. Он совершенно сознательно идет на это, чтобы запечатлеть в комедии одни пороки. Ведь воспроизводя только отрицательные характеры, он поражает купеческую, чиновничье-дворянскую Россию в самых ее основах.

Царская цензура не случайно отмечала, что «лица, представленные в этой пьесе, доказывают совершенное нравственное разрушение общества».

Не часто в русской литературе появлялись книги, имевшие, подобно «Губернским очеркам», столь огромный общественный резонанс. В одном только журнале «Современник» за 1857 год Чернышевский опубликовал две большие статьи (свою и Добролюбова) с высокой положительной оценкой щедринских очерков. В своих отзывах о Салтыкове-Щедрине «Современник» резко разошелся с русскими либералами. Либеральной критике хотелось видеть в «Губернских очерках» поход против взяточников, против отдельных, частных пороков Российской империи. Чернышевский угадал в Салтыкове-Щедрине своего идейного союзника, ополчившегося на негодные основы, на самое существо самодержавно-крепостнической машины.

Он сразу же начал свою статью о «Губернских очерках» с высоких похвал таланту их автора, говоря о громадном успехе очерков, о том, что в них очень много правды и что правда эта часто очень горькая.

С появлением щедринской сатиры впервые зашла речь об «ограниченности» гоголевского реализма. Чернышевский давал понять, что автору «Мертвых душ» недоставало объяснения жизни: «Его поражало безобразие фактов, и он выражал негодование против них; о том, из каких источников возникают эти факты, какая связь находится между тою отраслью жизни, в которой встречаются эти факты, и другими отраслями умственной, нравственной, гражданской, государственной жизни, он не размышлял много». Совсем иное дело — Салтыков-Щедрин. «Прочтите,— писал Чернышевский,— его рассказы «Неумелые» и «Озорники» и вы убедитесь, что он очень хорошо понимает, откуда возникает взяточничество, какими фактами оно поддерживается, какими фактами оно могло бы быть истреблено. У Гоголя вы не найдете ничего подобного мыслям, проникающим эти рассказы».

Чернышевский убежден был даже, что «ни у кого из предшествовавших Щедрину писателей картины нашего быта не рисовались красками более мрачными. Никто... не карал наших общественных пороков словом более горьким, не выставлял перед нами наших обще-

ственных язв с большею беспощадностью. У него нет ни одного веселого или легкого выражения, не только целого очерка... Он — писатель по преимуществу скорбный и негодующий».

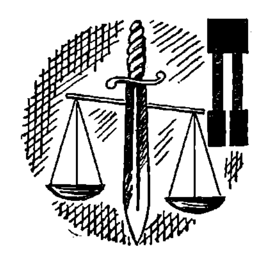
Если поступки, совершаемые щедринскими героями, дурны, полагал Чернышевский, то это еще не значит, что мы непременно имеем дело с дурными людьми. Все главные объяснения кроются в обстоятельствах их жизни. «Постарайтесь изменить эти обстоятельства, и тогда вы увидите, что быстро исчезнут дурные привычки»,— писал критик. В резко обостренной атмосфере конца пятидесятых — начала шестидесятых годов «изменить обстоятельства» — значило призвать к революционному преобразованию общества. К таким радикальным выводам приходил Чернышевский, анализируя «Губернские очерки».

Дополняя его принципиальные суждения, Добролюбов обращает особое внимание на передовые взгляды Салтыкова-Щедрина. Писатель, по мысли критика, совершенно сознательно встал на крестьянскую точку зрения и в ее свете рассматривает все вопросы жизни. «Сочувствие к неиспорченному, простому классу народа, как и ко всему свежему, здоровому в России, выражается у г. Щедрина чрезвычайно живо»,— отмечает Добролюбов.

Критики-демократы не случайно сравнивали Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Конечно же, они не ставили знака равенства между талантливыми очерками начинающего сатирика и общепризнанным гениальным искусством Гоголя. Однако в эпоху, когда крушение крепостного режима казалось близким и неминуемым, Чернышевский требовал, чтобы и художественная литература помогла решить эту громадной важности социально-политическую задачу. И Чернышевский, и Добролюбов разглядели в «Губернских очерках» свое боевое художественное оружие.

Для будущей работы Салтыкова-Щедрина статьи революционно-демократических критиков имели огромный смысл. Щедринская сатира сразу нашла авторитетнейшую поддержку.

СТРАННЫЙ ЧИНОВНИК



После возвращения из Вятки Салтыков-Щедрин служит в министерстве внутренних дел. «В Вятке,— признается он,— я скучал о Петербурге, а теперь — здесь — я сплю и вижу, как выдраться отсюда куда-нибудь в Малороссию, в степи приволжские... Меня убивает здешняя жизнь...» В 1858 году его назначают вице-губернатором в Рязань, а с 1860 по 1862 год — он вице-губернатор Твери.

Нельзя назвать чиновничью службу Салтыкова частным или случайным эпизодом в его биографии. Служит писатель не один год, служит сознательно, на первых порах даже с живейшей заинтересованностью. Демократ по убеждениям, он считает полезным, однако, сотрудничество с теми, в чьих руках «хранится судьба России». Не станем спешить с упреками в его адрес.

Салтыков-Щедрин недвусмысленно заявляет, что не имеет ни малейшей возможности оставить службу. Смысл этого заявления ясен: будь у него возможность оставить службу, он бы это охотно сделал. Служба по-прежнему, если не с большей силой, ущемляет его писательские интересы. Но бросить ее Салтыков не может. Причины тому вполне земные, житейские. Материальные запросы после женитьбы сильно возросли. Помощь матери, у которой строптивый сын-литератор успел попасть в «постылые», заметно сократилась. Положиться на литературный заработок было трудно.

Но, с другой стороны, сатирика не тревожит мысль, что служба как-то скомпрометирует его литературное имя. В эти годы города и веси Российской империи пришли в движение. В самом воздухе чувствовалось «начало перемен». Многим русским людям искренне казалось, что царизм готов пойти на существенные

уступки, касавшиеся крепостного права. Реакции нужно дать отпор, и дело честных людей России, рассуждал писатель, помочь правительству пресечь действия крепостников. Нужно активно вмешиваться в жизнь, нужно интенсивно работать. В том числе, и не в последнюю очередь, на административном поприще: удастся, может, продвинуть проекты хотя бы некоторых неотложных, очень нужных народу реформ.

Прежний, вятский опыт подсказывал ему, что и правительство, и чиновники всех рангов стоят за помещика. Но на первых порах своей уже добровольной служебной деятельности Салтыков-Щедрин и в этом хочет видеть все же не закономерность, а уклонение от нормы. Свою службу крупного царского чиновника он оправдывает особой теорией. Салтыков-Щедрин нарекает ее теорией насаждения «либерализма в самом капище антилиберализма».

Вот как он сам ее объясняет: «С этою целью предполагалось наметить покладистое влиятельное лицо, прикинуться сочувствующим его предначертаниям и начинаниям, сообщить последним легкий либеральный оттенок, как бы исходящий из недр начальства (всякий мало-мальски учтивый начальник непрочь от либерализма), и затем, взяв облюбованный субъект за нос, водить его за оный. Теория эта, в шутливом русском тоне, так и называлась теорией вождения влиятельного человека за нос, или, учтивее: теорией приведения влиятельного человека на правый путь».

То было своеобразное подполье непосредственно в бюрократическом тылу. Именно здесь в изобилии встречались влиятельные лица, многие из которых непрочь были щегольнуть либеральной фразой, а то и облачиться в либеральную мантию. На этих их «слабых струнах» и следовало играть.

Но очень скоро Салтыков-Щедрин почувствовал, что нос влиятельного лица, коего нужно вывести на правый путь,— чрезвычайно неуловимая штука. Только покажется, будто ухватился за него, глядь,— а он уже выскользнул, и в прежнюю сторону.

Писатель быстро понял, насколько тяжело и неблагодарно служить власти, как щитом укрывавшейся лицемерной фразой. Иллюзии исчезают при каждом новом соприкосновении с жизнью, с влиятельными

лицами, с их прочно посаженными носами. Чрезвычайно скверно становится сатирику на государственном посту.

Чиновники Рязани, в том числе и влиятельные, узнав о назначении Салтыкова-Щедрина в их город, поначалу утешали себя тем, что новый вице-губернатор непрактичен, мало разбирается в канцелярских тонкостях и его легко можно будет провести.

«— Э, э, э! — говорили умудренные немалым опытом. — Знаем мы этих *реформаторов*! Выдывали... Погорячится, покипятится — и сядет...»

Так создавалась своеобразная встречная теория обуздания, направленная на нового возмутителя спокойствия.

Салтыков приехал в Рязань против всех ожиданий не как вице-губернатор, а как обыкновенный служащий: без шумных и пышных торжеств, без особых церемоний, в обычном, сильно запыленном тарантасе.

Всех поверг в изумление первый прием у нового вице-губернатора. Хмуро оглядев подчиненных, он внезапно произнес:

«— Брать взяток, господа, я не позволю, и с более обеспеченных жалованьем я буду взыскивать строже. Кто хочет служить со мною, — пусть оставит эту манеру и служит честно... К тому же, господа, я должен сказать вам правду: я обстрелянный уже в канцелярской кабалистике[1] гусь, и провести меня трудно».

Новому начальнику удалось прогнать со службы многих взяточников и воров, отдать под суд злоупотреблявших властью, наказать продажных чиновников. Действия Салтыкова «возбудили к нему почти общую в губернии ненависть», — доносили в 1859 году в Петербург обеспокоенные жандармы.

Однако взятка оказалась поистине неистребимой.

— Всем кормиться нужно! — сквозь зубы хмуро цедили служащие.

— Даром ничего не делается, — добавляли они, выжидающе глядя на очередного посетителя.

В ужас повергало Салтыкова невежество, безграмотность подчиненных.

---

[1] Кабалистика — средневековые мистические учения и связанные с ними обряды. В данном случае — нечто тайное, непонятное, запутанное.

«— Господи,— крикнет он иногда, хватаясь руками за голову,— ну и дураки же! Господи, какие дураки! Впрочем, слава создавшему их такими!.. Будь они поумней — всю губернию слопали бы! Ей-богу, слопали бы!»

Это Салтыков читал очередную канцелярскую бумагу, составленную на тарабарском наречии. Читал и, в сердцах перечеркивая, составлял заново.

С низшими чинами он был отходчивее и добрее. Однажды немолодой уже столоначальник принес вице-губернатору на подпись бумаги по какому-то весьма важному делу. Салтыков, рассказывали очевидцы, прочел раз, прочел другой, высоко поднял плечи в изумлении, с досадой плюнул и откинулся на спинку кресла:

«— Что это такое вы намудрили тут?

— Доклад-с, ваше превосходительство!

— Доклад!! Ахинея-с, а не доклад, ваше благородие!.. Тут ни один дьявол не разберет вашего доклада... Вы-то понимаете сами, что написали?

— Я понимаю-с, ваше превосходительство! — сконфуженно солгал столоначальник.

Салтыков вспыхнул:

— Ну, в таком случае, батюшка, извините,— один из нас несомненный дурак.

— Может быть-с, ваше превосходительство!— ответил тот, обидевшись и выйдя из себя.— Только для меня это обидно-с. Как угодно-с... у меня амбиция есть! — и губы его задрожали.

Михаил Евграфович внезапно переменился, вскочил и участливо схватил старика за руку:

— Амбиция есть?! И хорошо, батенька, что она есть! И отлично, что амбиция есть! И слава богу!— говорил он уже ласково.— И нужно, чтобы она была! Только и бумаги, батенька, нужно писать толково...»

И Салтыков, прочтя вслух бумагу, стал терпеливо объяснять чиновнику, что из его писанины действительно невозможно ничего понять.

Сатирику и в канцеляристе хотелось видеть прежде всего самостоятельного, независимого, готового постоять за себя человека.

Рассказывали, как, назначая бухгалтера казначеем, вице-губернатор вдруг неожиданно спросил его:

«— Вы книжки-то читаете?

— Читаю!..

— То-то!.. Я вас казначеем назначаю, но вы этими перспективами не больно увлекайтесь... Книжку-то не забывайте.

— Я не забуду! — улыбнулся бухгалтер.

— То-то, батенька!.. Ох, отшибают эти перспективы память на книжки, крепко отшибают.. А ведь в них, нет-нет, да вдруг и найдется такое, что крепко запомнить нужно!.. Так вы перспективами-то не больно!..»

Салтыков говорил так не случайно. Ему хорошо было известно отношение российской бюрократии к книге. Один из щедринских помпадуров, «прибыв в некоторое присутственное место, спросил книгу, подложил ее под себя и затем, бия себя в грудь, сказал предстоявшим:

— Я вам книга, милостивые государи! Я — книга, и больше никаких книг вам знать не нужно!»

Понадобилось немного времени, чтобы почти бесследно исчезло административное рвение Салтыкова в Рязани. Очень скоро ему «начинает делаться и скучно, и досадно на себя, что поехал в эту каторгу». В конце июня 1858 года в одном из писем он пишет о том, что рязанские помещики, напуганные слухами о предстоящей реформе, принимались действовать противозаконно и с бессмысленной жестокостью. Писатель рассказывает, как на одном из дворянских собраний местный помещик, отставной военный, не выдержав разговоров о надвигавшемся «освобождении» мужика, заявил во всеуслышание:

— Отлично, господа! все это хорошо! только я вам вот что скажу: хоть вы пятьсот рублей штрафу положите, а уж я по мордасам их колотить все-таки буду!

И речи этого, не привыкшего обуздывать свой нрав солдафона ни у кого среди дворян не вызывают гневного протеста.

Но вот Салтыков бросает в лицо хозяевам губернии: «Я не дам в обиду мужика! Будет с него, господа... Очень, слишком даже будет!» И идет о нем слава как о чудаке, да еще о чудаке опасном и вредном. Вице-губернатор к тому же возбуждает несколько дел о жестоком обращении помещиков с крестьянами. Позднее он вспоминает: «Вы не можете представить, какие

ужасы мне пришлось видеть; я ведь застал еще застенки и деревянные колодки, из которых заставлял при себе вынимать людей».

Кто-то, желая съязвить, называет рязанского вице-губернатора «вице-Робеспьером» и «домашним Герценом». (Мы помним о том, что А. И. Герцен в ту пору вел революционную пропаганду в эмиграции.) И вот уже помещики из уст в уста передают эти злые, на их взгляд, прозвища, придуманные местными остряками. Вздорные, с непомерно раздутой претензией люди недолюбливают Салтыкова за его бескомпромиссный, прямой до резкости характер.

— Что он спорит?! — говорили о нем.— Считает, что ли, себя умнее всех?!

Снова знакомый уже насмешливый мотив: «Умник!»

В Рязанской губернии, как и в других российских краях, то и дело вспыхивали крестьянские волнения. Происходили они едва ли не прямо на глазах у сатирика. Выступления крестьян нередко носили необычайно острый, драматический характер.

Мужики решались жаловаться на действия помещиков и всякий раз находили поддержку у вице-губернатора. Много сил положил Салтыков-Щедрин, чтобы обуздать влиятельнейшую рязанскую помещицу княгиню Черкасскую. «Эта баба,— писал он в 1859 году,— самая гнусная во всей Рязанской губернии... Она на нас беспрестанно ябедничает, что возмущаем крестьян». Но помещичий гнев мало смущает «вице-Робеспьера». Он опротестовывает незаконные действия и княгини Черкасской, и других провинциальных душевладельцев.

Крестьян, стремившихся вырваться из крепостной неволи, помещики быстро и беспрепятственно, хотя и в нарушение существовавших правил и законов, упекали в солдаты. Салтыков-Щедрин настоятельно ходатайствовал об их возвращении с военной службы. Конечно же, горьким было это возвращение. Ведь попадали мужики к прежним своим господам.

«С каждым днем все более убеждаюсь,— признается сатирик,— что бюрократия бессильна...» Но несмотря на сознание собственного бессилия, он, насколько хватает сил и возможностей, протестует против крепостного произвола, против действий уездных самодуров,

организует следствия по поводу помещичьих бесчинств, отстраняет от службы погрязших в преступлениях местных администраторов.

Салтыков-Щедрин изо всех сил препятствует отправке непокорных, взбунтовавшихся или склонных к бунту крестьян в Сибирь, в ссылку, разоблачает мошенничество дворян, отстраняет, пользуясь предоставленным ему правом, жестоких помещиков от управления их имениями, отдает эти имения в опеку.

Массовые помещичьи «проделки» особенно участились в преддверии «освободительных» реформ. Однажды Салтыковым были разоблачены явно противозаконные действия рязанских крепостников, объединившихся с богатейшими местными фабрикантами братьями Хлудовыми. Дело началось с писем группы рабочих, жаловавшихся на бесчеловечные наказания, применяемые к ним директором фабрики.

В ходе начавшегося следствия была разоблачена афера, к которой оказались причастными не только помещики, но и владельцы фабрики, и уездные власти. Безотказно действовал принцип круговой поруки. Помещики, например, как установило следствие, продавая своих крепостных на фабрику, получая за них деньги от фабричных владельцев, принуждали платить за подобное «освобождение» и самих крестьян, заставляли их работать незаконно на прежних хозяев. К тому же условия труда «вольноотпущенных» на хлудовской фабрике были невероятно тяжелые.

Все мужики, дававшие показания, с горечью рассказывали об изнурительной работе, об избиениях и даже признавались, что лучше уж возвратиться в прежнее крепостное состояние. Помещики же и вся прочая братия, естественно, оправдывались, выгораживали себя. Но рязанский вице-губернатор хорошо понимал, что «показанию их не может быть дано веры». Он обвинил «почетных граждан Хлудовых» в жестоком обращении с работавшими у них крестьянами. К жалобам же последних отнесся с полным доверием.

По личной инициативе Салтыкова было начато нашумевшее «дело Кислинской». До вице-губернатора дошли сведения о том, что два крестьянских мальчика, находившихся в услужении у полковницы Кислинской, пытались покончить жизнь самоубийством. По слухам,

причиной страшного отчаяния ребят были жестокие наказания, которым систематически подвергала их владелица. Причем и Кислинская, и другие близкие к ней помещики до тех пор пользовались в губернии сравнительно доброй и пристойной репутацией.

Началось следствие. Допрошены были и оба дворовых мальчика, Иван и Гаврила, решившихся на самоубийство, и другие дворовые люди Кислинской, ее вольнонаемная прислуга, соседние помещики и крестьяне, ближайшие родственники несчастных ребят. Ивана и Гаврилу допрашивали в городской больнице, куда они были доставлены полицией.

Всплыла страшная история.

Однажды в воскресный день помещица, проснувшись, принялась, как обычно, по мелочам распекать домашнюю прислугу. Для людей ее это давно уже стало делом привычным, ежедневным. Но в то утро Кислинская, как выяснилось, была особенно не в духе. Тут еще обнаружилось, что служивший у нее мальчик Иван не вытер пыль со стульев. Гневу барыни не было предела. А уж коли случалось разгневаться Кислинской на что-то или на кого-то, удержу она не знала. Принялась она бить Ивана по щекам. Потом, все больше распаляясь, схватила хлыст, вчера еще гулявший по спине ее лошади, и начала стегать им. Бедный мальчик попробовал, уворачиваясь от ударов, оправдываться. Не помогают ему, мол, старшие лакеи, а он один не в состоянии со всеми делами в срок управиться. Но это еще больше обозлило Кислинскую. Она кинулась на брата Ивана Гаврилу. Оказалось, он хозяйские охотничьи сапоги не тем жиром смазал. Побои обрушились и на Гаврилу. Кислинская в исступлении кричала, что выжмет из обоих бездельников сок, вгонит их в гроб и никто ее за это не подумает осудить. Она велела дворнику принести два пучка розог, чтобы продолжить экзекуцию.

Но в это время ребята успели выбежать из дому, прихватив с собой остро отточенный нож из буфета. Кислинская немедленно послала людей разыскать беглецов, но было поздно. Истекающих кровью крестьянских пареньков полиция отправила в больницу; один из них, Гаврила, вскоре умер.

Расследование «дела Кислинской» было искусственно затянуто. А уже после отъезда Салтыкова из Рязани дело это завершилось оправданием виновных.

Трагическая история с Иваном и Гаврилой долго не выходила из памяти сатирика. В конце 1862 года им был написан рассказ «Миша и Ваня», навеянный рязанскими событиями.

Так же, как и в жизни, дворовые ребята из рассказа Салтыкова-Щедрина с несвойственной обычно детскому возрасту отчаянной и угрюмой решимостью в самоубийстве ищут избавления от зверств помещицы.

Быстро почувствовал и понял рязанский вице-губернатор, что «рвения к освобождению крестьян незаметно никакого, а напротив, слышен повсюду плач и скрежет зубовный».

В 1860 году, накануне реформы, Салтыков выхлопотал себе перевод в Тверь. В июле он явился к новому месту службы. Тверские чиновники встретили его без особой приветливости. До них уже успели дойти слухи о деятельности их нового начальника в Рязани.

И здесь, в Твери, городе, дворянство которого слыло либеральным, писатель начинает борьбу с оголтелыми, убежденными крепостниками, с ворами и взяточниками, засевшими в губернских учреждениях. За время службы на посту вице-губернатора он возбудил массу дел против местных чиновников, уличенных в самых разных преступлениях. Дважды выезжал в уездные города ревизовать хозяйство и делопроизводство.

То были последние месяцы официального существования крепостного права. Слух о предстоящей реформе проник в крестьянскую массу. Участились случаи неповиновения крепостных своим хозяевам. В ответ на крики помещиков, требовавших расправы с непокорными мужиками, Салтыков часто переадресовывает обвинения самим землевладельцам, уличая их в ненасытной жестокости. Не уклоняется он, когда того требует дело, и от открытой борьбы с дворянами.

Накануне реформы крепостники используют все чаще свое право ссылать крестьян без суда и следствия на поселение в Сибирь. Ссылка была выгодна помещикам: удалялись возможные бунтовщики и смутьяны. Их имущество переходило к господам.

Позднее в очерке «Хищники» писатель воспроизведет один из эпизодов этого массового драматического угона крестьян:

«— За что их ссылают? — спрашиваешь, бывало, какого-нибудь доверенного холопа, пригнавшего в город целую деревню нераскаянных (в то время нераскаянный меньший брат пригонялся вместе со всеми нераскаянными домочадцами и даже нераскаянными грудными младенцами; на месте оставалось только нераскаянное имущество, то есть дома и скот меньших братьев).

— За ихнюю нераскаянность-с... Потому, значит, помещик им добра желают-с, а они этого понять не хотят.

— Что же, однако, они сделали?

— Секли их, значит... ну, а они, заместо того, чтоб благодарить за науку, совершенно, значит, никакого чувствия».

Как и прежде, Салтыков решает не давать мужиков в обиду, настаивает на освобождении их из-под стражи.

В начале марта 1861 года в Тверь был доставлен царский манифест об «освобождении» крестьян. Стало ясно, что до настоящей воли еще далеко, что длительное время крестьянин будет оставаться в прежнем положении, именуемый «временно-обязанным». С новой силой вспыхивали волнения, мужики отказывались повиноваться.

Организовалось так называемое губернское по крестьянским делам присутствие, которому было доверено проведение реформы по всем тверским землям. Как и в других губерниях, огромное большинство в этом присутствии составляли сами крепостники.

В мае 1861 года, то есть уже после объявления царского манифеста о реформе, Салтыков сообщает из Твери: «Крестьянское дело в Тверской губернии идет довольно плохо. Губернское присутствие очевидно впадает в сферу полиции, и в нем только и речи, что об экзекуциях... Уже сделано два распоряжения о вызове войск для экзекуций. Крестьяне не хотят и слышать о барщине и смешанной повинности[1], а помещики, вместо того чтоб уступить духу времени, только и во-

---

[1] Смешанная повинность — сочетание барщины и оброка.

пиют о том, чтобы барщина выполнялась с помощью штыков. Я со своей стороны убеждаю, что военная экзекуция мало может оказать в таком деле помощи, но, как лицо постороннее занятиям присутствия, имею успех весьма ограниченный. Впрочем, я со своей стороны подал губернатору довольно энергичный протест против распоряжений присутствия и надеюсь, что на днях мне придется слететь с места за это действие».

Этот характерный отрывок из письма Салтыкова отчетливо передает напряженность атмосферы, в которой проводилось насильственное облагодетельствование крестьян. Усилия вице-губернатора защитить мужика чаще всего оказывались тщетными. Крепостники же и рьяные администраторы в центре и на местах лютой ненавистью ненавидят беспокойного «вице-Робеспьера», дожидаясь только удобного повода, чтобы избавиться наконец от него.

Салтыков пробовал помочь голодающим воспитанникам сиротского дома, где, как стало ему известно, ежегодная смертность младенцев превышала число поступающих. Городские власти, отказываясь прислушаться к его настоятельным предложениям и просьбам, ссылаются на отсутствие средств, затягивают переписку.

Попытался Салтыков улучшить положение школ и учителей. Школы в Тверской губернии были в те времена огромной редкостью. Школьное дело вообще не было в чести у крепостников и священников. Скверно жилось и тем немногим учителям, которым доставало еще сил работать в школах. Сохранилась написанная Салтыковым бумага, судя по которой тверской вице-губернатор принимал непосредственное личное участие в судьбах народных учителей. Вот отрывок из составленного им на этот счет отношения:

«Приходским учителям на ассигнованное жалованье (96—130 рублей в год) существовать почти невозможно... По сему губернское правление признает совершенно необходимым увеличить их содержание по крайней мере до 180 рублей серебром в год».

В Твери Салтыков не только по делам службы становился на защиту бедного и обездоленного люда. Этим же духом проникнуты и те его немногие очерки и статьи, что были созданы в тверскую пору и увидели

свет на страницах возглавляемого Некрасовым и Чернышевским журнала «Современник».

С каждым месяцем все мрачнее становится тон писем Михаила Евграфовича из Твери. Он жалуется друзьям и знакомым на то, как гадко стало жить, на «тупоумие здешних властей по крестьянскому делу». Тупоумие их сатирик находит столь изумительным, что «нельзя быть без отвращения свидетелем того, что делается». Подумывает он и об отставке и даже делает соответствующие по службе распоряжения, «чтобы достигнуть этого счастливого результата».

В январе 1862 года Салтыков по болезни уходит в четырехмесячный отпуск, но, не дожидаясь его истечения, принимает решение оставить службу. 9 февраля 1862 года дерзкий, непримиримый к злу и неугодный властям тверской вице-губернатор «от службы был уволен».

Михаил Евграфович прожил в Твери до апреля, почти целиком отдаваясь литературным занятиям. 22 марта 1862 года он организовал большой литературный вечер, сбор от которого предназначался бедным чиновникам губернского правления, недавно еще им возглавлявшегося. К участию в вечере сатирик привлек известных в широкой публике писателей и актеров. Выступали драматург А. Н. Островский, поэты А. М. Жемчужников и А. Н. Плещеев, знаменитый рассказчик актер И. Ф. Горбунов. Избегавший обычно публичных выступлений, Салтыков-Щедрин изменил на этот раз своему правилу. Он выбрал для чтения рассказ «Озорники» из «Губернских очерков». В полной тишине до сконфуженной высокой чиновной публики доходил его негромкий приглушенный голос. Рассказ велся от имени некоего внушающего отвращение «просвещенного» бюрократа: «Повторяю вам, вы очень ошибаетесь, если думаете, что вот я призову мужика, да так и начну его собственными руками обдирать... фи! Вы забыли, что от него там бог знает чем пахнет... да и не хочу я совсем давать себе этот труд... И при том, скажите на милость, что может быть общего между мною, человеком благовоспитанным, и этими мужиками, от которых так дурно пахнет?..

...Говорят и волнуются, что чиновники взятки берут!.. Но почему же они берут? Почему они берут,

спрашиваю я вас? Не потому ли, что чиновник все-таки высший организм относительно всей этой массы?»

В острейшей политической сатире самое существо административной машины самодержавной власти олицетворялось в портрете «озорующего» над народом бюрократа. Гнуснее его, по мнению Чернышевского, никого не было во всех «Губернских очерках». Этим рассказом Салтыков-Щедрин бросал открытый вызов и тверским, и всем прочим чиновникам-хищникам. Сатирик и после отставки продолжал борьбу с бюрократическими «озорниками».

В ОПАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ



1861 году умер Добролюбов. Тяжело переживал Салтыков его безвременную кончину. «Смерть Добролюбова,— писал он из Твери в декабре 1861 года,— меня потрясла до глубины души, хотя, видев его в начале января, я и ожидал этого известия. Да, это истинная правда, что жить трудно, почти невозможно. Бывают же такие эпохи».

В июле 1862 года, через полтора года после опубликования манифеста об освобождении крестьян, власти арестовывают и заключают в Петропавловскую крепость Чернышевского и его сподвижника Н. А. Серно-Соловьевича. На восемь месяцев закрыты демократические журналы «Современник» и «Русское слово».

Ко времени, когда издание «Современника» возобновляется, Салтыков-Щедрин переезжает в Петербург, сближается с Н. А. Некрасовым и входит в редакцию журнала. С декабря 1862 года по ноябрь 1864 года писатель активно сотрудничает в «Современнике». Обезглавленный «крамольный» журнал в лице автора «Губернских очерков» обретает могучую поддержку. Салтыкову — художнику и публицисту — принадлежит честь поддержания боевой репутации журнала. Об идейной близости к Чернышевскому и своем намерении продолжать его курс в «Современнике» Салтыков заявил печатно с возможной в опальном журнале ясностью.

Мужество сатирика бесспорно: ведь было это в пору, когда реакционно настроенный публицист и журналист М. Н. Катков мог во всеуслышание, без стеснения заявить: «Мы не откажемся от своей доли полицейских обязанностей в литературе».

В дореформенной России полицейские, наблюдавшие за порядком на улицах и площадях, помещались

в специальных будках. Упоминанием о такой «печальной заставе с будкой» грустно заканчивалась тридцать лет тому назад гоголевская «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Многое с тех пор в стране переменилось. Будка же, обыкновенная полицейская будка осталась, она превратилась в символ всего официального и благонамеренного на Руси. Мало того, иные рьяные блюстители тишины и подцензурного спокойствия в литературе стали поговаривать о своей литературной будке, о своих будочных порядках: «Почему,— писал один из консерваторов, вчера еще только покинувший стан либералов,— кому бы то ни было и не стать у будки, если отечество этого требует!»

Салтыков-Щедрин так и окрестил издателя «Московских ведомостей» Каткова и его единомышленников «литературными будочниками». В сатирике поднималось «чувство гадливости», когда он видел, как «роль будочника добровольно берет на себя человек, которого никто не заставляет быть будочником, и когда этот мрачный будочник-самозванец до того входит в свою роль, что сам себя приковывает к своей будке, сам по этому случаю приходит в озлобление и начинает высовывать язык всему, что не приурочило себя к будке...»

В 1863—1864 годах в «Современнике» из-под пера Салтыкова выходит целая серия статей-обзоров под названием «Наша общественная жизнь».

Писатель предупреждает, что его не будут интересовать, как обозревателей других журналов, «огорчения и увеселения» столичной, петербургской жизни. Он поясняет, что общественную жизнь нужно видеть не столько в бельэтаже, сколько среди тех, кто обитает в подвалах и на чердаках. Отсюда и особый отбор материала для статей, особая, демократическая его трактовка.

Сочувствие народу не оборачивается «оскорбительной жалостливостью». Мысль Салтыкова-Щедрина устремляется к тем далеким будущим временам, когда и «ветхие люди» — вчерашние крепостники и новые, только еще нарождающиеся кровопийцы — сойдут в общую могилу.

Сатирик, как никто другой, вселяет бодрость в молодое поколение России, в ее «детей», рискнувших вступить в принципиальный и ожесточенный спор с «отцами», в тех, кого катковская печать презрительно окрестила «мальчишками». Салтыков подхватывает это слово и вкладывает в него свое искреннее уважение и сочувствие к «детям»: «Мальчишество — сила, а сословие мальчишек — очень почтенное сословие... Не будь мальчишества, не держи оно общество в постоянной тревоге новых запросов и требований, общество замерло бы и уподобилось бы брошенному полю, которое может производить только репейник и куколь».

В годы, когда царизм травит и преследует революционеров, писатель не скрывает симпатий к демократической, радикально настроенной молодежи.

Публицистические выступления приносят Салтыкову-Щедрину славу честного и проницательного мыслителя.

Во многих своих статьях он достигает сложнейшего философского истолкования событий и процессов русской жизни, стремится угадать, почувствовать, понять диалектику поступательного развития человечества.

За сухой статистикой, за цифрами и внешне неприметными фактами писатель видит «утраченное человеческое здоровье», «оскорбление человеческого достоинства», никогда не прекращающийся труд ради хлеба насущного.

Щедринскую публицистику отличает редкое многообразие художественных форм. В его статьи органично входят пародийные и фельетонные отрывки, тонкое критическое суждение, выразительная портретная зарисовка, бытовая сценка или диалог.

Сразу же вслед за «Губернскими очерками» в журналах 1857—1863 годов стали появляться очерки, позже образовавшие циклы «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе». Мелкие и средние чиновники, преобладавшие в первой щедринской книге, уступают в них место высшим губернским бюрократам. Наиболее выразителен здесь генерал Семен Семеныч Зубатов, вырастающий в злой символ всей государственной администрации России. Генерал Зубатов, одержимый нескончаемым служебным зудом, сильно недолюбливал людей, которые «пером побаловаться» не прочь или не

желают бежать «сломя голову на всякий рожон», на который им начальство указывает.

«К балующим пером,— рассказывает автор,— Семен Семеныч адресовался обыкновенно следующим образом:

— Что вы мне, милостивый государь, там рассказываете? Какие вы там нашли еще препятствия? Разве вам велено вникать в препятствия? Разве вас об этом спрашивают? Я, милостивый государь, тридцать пять лет служу и, благодарение богу, никогда никаких препятствий не видал!

— Помилуйте, ваше превосходительство, ведь это все равно что на камне рожь сеять...

— Ну, что ж-с!.. и посеем-с!..

— Да ведь рожь-то не вырастет!

— Вырастет-с! а не вырастет, так будем камень сечь-с!

— А она и от этого не вырастет!

— И опять будем сечь-с! нам до этого дела нет, что́ можно и что́ нельзя... а мы будем сечь-с!»

С теми же, кто пробовал противоречить и умничать, генерал толковал куда более категорично и жестко:

«— Я вам приказал, сударь... почему вы не исполнили?— говорил он им, принимая самые суровые тоны.

— Так и так, ваше превосходительство, я был на месте и убедился, что указываемый вами рожон совсем не рожон...

— А разве об этом вас спрашивали? а знаете ли вы, милостивый государь, что за подобные рассуждения в военное время расстреливают?»

Зубатов безраздельно распоряжался во вверенном ему крае в прошлые, дореформенные времена. Слегка оторопев в пору реформы, генерал вскоре вновь обрел силу. Не желая и слышать о каких бы то ни было нововведениях, Зубатов искренне недоумевал:

«Толкуют там: новым духом веет! новым духом веет! Каким это новым духом, желал бы я знать! Только лакеи стали грубить, а то все остается по-старому».

В самом деле, мало что переменилось в родном и досточтимом Глупове, городе, впервые встающем со страниц щедринской сатиры и олицетворяющем всю Русь, убогую, дикую и вместе с тем дорогую сердцу писателя:

«Глупов! милый Глупов!.. Кажется, и не пригож ты, и не слишком умен; нет в тебе ни природы могучей, ни воздуха вольного; нищета да убожество, да дикость, да насилие... плюнул бы и пошел прочь! Ан нет, все сердца к тебе несутся, все уста поют хвалу твою! Странная какая-то творится тут штука: подойдешь к тебе поближе, вкусишь от винограда твоего — тошнит: чувствуешь, как въяве дураком делаешься; уйдешь от тебя — плачешь: чувствуешь, что вдруг становишься словно не самим собою!»

Презрение к власть имущим органично сочеталось в писателе с горькой и полной надежд любовью к Иванушке — народу. Народу нужно ясное сознание собственной обездоленности. Только тогда обретет он силу и претворит в жизнь мечту свою о справедливости. Если же «доныне он изнывал, как слепец, а отчасти даже суеверно трепетал перед обстановкой своего недуга, считая ее неизбывною, от веков определенною,— и вдруг, благодаря объяснениям, смешения эти устраняются!.. Ужели это не утешение?— восклицает Салтыков-Щедрин, эзоповски зашифрованно завершая свою мысль,— ужели не утешение сказать себе: сначала — ясность, а потом — что бог даст?»

Многозначительная фраза «а потом — что бог даст» (вслед за которой следовала целая строка точек в тексте) прозрачно намекала на то, что сатирик вовсе не исключает революцию из своих прогнозов касательно будущей русской жизни. И это будущее он приближал собственной писательской деятельностью, к которой прибавилась еще и огромная редакторская работа.

Часто можно было наблюдать, как Салтыков-Щедрин, раздраженный очередным цензурным запретом, являлся в редакцию «Современника», нещадно бранясь на ходу:

— Можно с голоду поколеть! Кто рассчитывает жить литературным трудом, не заработает на прокорм своей старой лошади, на которой приезжает в редакцию. Каждый вислоухий камергер имеет власть не только исказить, но и запретить труд литератора.

Сатирик принимался всерьез уверять всех присутствовавших в редакции, что навсегда прощается с этой «проклятой литературой». И стоило Некрасову, едва за-

метно усмехнувшись, усомниться в салтыковских словах, как писатель вскипал и бранился пуще прежнего. Но это были минутные вспышки. Салтыков всем сердцем любил литературу. Без нее он не мыслил себе жизни.

По словам современников, писатель вел свой литературный отдел в журнале с примерным вниманием. Обладая редким эстетическим вкусом, редактируя начинающих и подающих надежды прозаиков, он принимался за поправки и переделки в их сочинениях. Причем делал это с большим тактом.

Опыт работы в «Современнике» пригодился позднее. В декабре 1864 года Салтыков оставляет редакцию журнала и вновь служит в провинции. На свою работу в Пензе, затем в Туле и, наконец, снова в Рязани он глядел как на своеобразную добровольную ссылку. Принял же он ее исключительно ради заработка, по соображениям материальным. Салтыков служил управляющим Казенной палатой и находился в подчинении министерства финансов. Министерство возглавлял в те годы граф М. Х. Рейтерн, его старший лицейский товарищ. Конфликты Салтыкова с губернаторами по самым принципиальным деловым вопросам служили поводом для новых переездов. Общение с «хозяевами» губерний помогло сатирику в работе над образами помпадуров и градоначальников.

Один из современников вспоминал: «Не успеет Салтыков где-нибудь прижиться, глядь, уже и поссорился с губернатором. Приезжает в Петербург — к Рейтерну:

— Давай другую палату! Не могу я с этим мерзавцем служить...

Получает другую палату — и опять та же история. Так и переезжал с места на место — до полной отставки».

Служба для сатирика превратилась в несносную обузу. «Нахожусь в большом унынии», «мною овладела страшная тоска», «жить очень скучно», «мне очень трудно и тяжело». Буквально теми же словами Салтыков когда-то описывал и изображал свое житье в вятском плену. По собственному признанию, он с удовольствием, как только представилась реальная возможность, бросил службу.

Позже в беседе с известным историком и журналистом М. И. Семевским Салтыков скажет: «...о времени моей службы я стараюсь забыть. И вы ничего о ней не печатайте. Я — писатель, в этом мое призвание».

«На мое, однако, замечание, — вспоминает М. И. Семевский, — что, если бы он не прошел всех стадий службы... тогда, быть может, он и не стал бы тем, что он теперь, то есть не знал бы так Русь и всю ее бюрократию, — Салтыков согласился с этим».

14 июня 1868 года в чине действительного статского советника Салтыков ушел в отставку. Кстати, по Табели о рангах, существовавшей на Руси, действительные статские советники относились к IV классу. Всего этих классов было четырнадцать. Четвертый был уже генеральским. Да, странный это был «генерал», всю силу своего таланта отдавший сокрушению самовластного режима.

С сентября 1868 года писатель становится членом редакции и активнейшим сотрудником журнала «Отечественные записки», журнала, который Н. А. Некрасов арендовал у известного издателя А. А. Краевского вскоре после запрещения «Современника».

Безвозвратно окончилась карьера самого необычного на Руси чиновника.

ХУДОЖНИК, ПУБЛИЦИСТ, РЕДАКТОР



В апреле 1878 года Салтыков-Щедрин по просьбе одного из издательств пишет автобиографию, краткую, но насыщенную именами, фактами, датами.

Свое жизнеописание он обрывает на 1856 году, когда в «Русском вестнике» началось печатание «Губернских очерков». Затем лишь следует скупое указание на то, что в разное время отдельными изданиями вышло двенадцать томов его сатир. И далее перечень основных сатирических циклов в хронологическом порядке. Ни дат, ни имен, ни особо памятных жизненных событий и фактов. Одни книги. В них — вся жизнь Салтыкова-Щедрина.

Покончив с высокой чиновничьей службой, он целиком уходит в писательство и редакторскую работу. «Был он писатель в большей мере, чем все другие писатели,— скажет позднее В. Г. Короленко. — У всех, кроме писательства, есть еще личная жизнь, и, более или менее, мы о ней знаем. О жизни Щедрина за последние годы мы знаем лишь то, что он писал. Да едва ли и было, что узнавать: он жил в «Отечественных записках».

Журналы всегда были, с самого их зарождения, одной из наиболее доступных форм знакомства читателей с литературой. Журнал — важный идеологический и художественный центр, если к тому же он не превращается, как говорил Гоголь, в «складочное место всех мнений и толков», а объединяет писателей, публицистов, критиков, близких по взглядам на жизнь, на искусство. Это хорошо понимал Пушкин, основавший «Современник» в 1836 году. В российские журналы, в их миссию «сеятелей свободы», верил Белинский. Да и вообще начиная с тридцатых годов, с тяжелой последекабристской поры, не было ни одного

поистине значительного писателя, чей труд в разной мере не связывался бы с теми или иными журналами.

Продажная, верноподданническая журнальная работа Булгарина и Греча, Каткова и Павлова, нередко граничившая с деятельностью полицейских осведомителей, всегда находила отпор в периодических изданиях Пушкина, Белинского, Герцена, Некрасова, Чернышевского, Добролюбова, Писарева.

И то, что в 1868 году Салтыков-Щедрин, выйдя в отставку и поселившись в Петербурге, сделался, по существу, одним из редакторов обновленных «Отечественных записок», далеко выходит за пределы чисто биографических сведений, касающихся писателя. Это уже факт истории отечественной литературы.

Полтора десятилетия Салтыков-Щедрин вел журнал, сначала вместе с Некрасовым, затем, после его смерти, опираясь на активное сотрудничество видных публицистов-демократов Г. З. Елисеева и Н. К. Михайловского.

Огромной популярностью «Отечественные записки» были обязаны главным образом стихотворениям и поэмам Некрасова и сатирам Салтыкова-Щедрина. Лучший журнал семидесятых и первой половины восьмидесятых годов продолжил революционно-демократические традиции «Современника».

Русский читатель быстро почувствовал, как «в «Отечественные записки» вселился дух усопшего «Современника». Известно, что дух этого покойника отличался удивительной цельностью; книжки «Современника» были замечательны единством своего состава, полнотой внутренней гармонии. Качество это присуще и «Отечественным запискам». Приведенные слова принадлежат одному из публицистов реакционного журнала «Заря», вынужденному признать громадную роль демократического органа в духовной жизни страны.

Не будь Салтыков-Щедрин гениальным сатириком, блестящим публицистом и литературным критиком, потомки навсегда сохранили бы память о нем как о мужественном редакторе «Отечественных записок».

Вид его обычно отпугивал людей, впервые попадавших в редакцию и с ним ранее не знакомых. Серьезное, даже суровое лицо, хмурый взгляд, сердитая

речь. Казалось, он в любой момент мог вспыхнуть. Органически не переваривал писатель болтливых и навязчивых посетителей и нисколько не скрывал своего отношения к ним. Достаточно громко, так, чтоб все присутствующие услышали, мог он в таких случаях проворчать:

— Скажите, пожалуйста, чего они тут сидят? Ведь у нас дело есть, а тут извольте ждать. Вероятно, они думают, что мы для разговоров собираемся.

Один из сотрудников объяснял, отчего он боится навестить Салтыкова-Щедрина дома:

«— Представьте, прихожу в последний раз: «Ну, здравствуйте, садитесь», — говорит, как вдруг в это время кто-то позвонил, а он и говорит: «А вот и еще черт кого-то принес».

Надо было близко знать Михаила Евграфовича, чтобы понять, что фраза, задевшая собеседника, не имела отношения к нему лично. Салтыкову-Щедрину чуждо было то, что называется галантным обхождением, изысканно-обходительным светским тоном. Он просто выразил безобидно и очень искренне досаду, что помешают потолковать с человеком, которого он хотел видеть.

Салтыков не переносил никакой неправды и фальши и реагировал на них крайне резко. Литературное дело было для него свято.

В редакции «Отечественных записок» можно было наблюдать, как Салтыков-Щедрин отчитывал молодую девушку, пришедшую узнать о судьбе своего первого литературного опыта:

«— Это ваше собственное сочинение? — допытывался редактор.

— Да, мое...

— Сколько же вам лет, барышня?

— Девятнадцать.

— Так видите ли, рано вы начинаете неправду писать... Вещица ваша написана недурно в смысле изложения, но ведь вы никогда не видели и не наблюдали за жизнью, которую изображаете... Не правда ли?

— Никогда, — шепчет девушка.

— Зачем же вы изображаете то, чего не знаете? В девятнадцать лет рано говорить неправду... Получите вашу рукопись».

В другой раз, не желая огорчать честного и доброго человека, не имевшего, однако, никакой художнической одаренности, Салтыков-Щедрин советовал своим сотрудникам как-нибудь деликатно намекнуть ему, чтобы он бросил сочинительство:

— Он хорошо наблюдает, тепло относится к народу и его нуждам, так пусть просто и пишет об этом этнографические очерки, что ли, а беллетристического таланта у него нет никакого... Пусть это бросит.

«Он часто был грубоват, резок, раздражителен, несдержан в выражениях, — вспоминает Н. К. Михайловский. — ...Внешность Щедрина еще усиливала впечатление его грубоватой манеры: резкая перпендикулярная складка между бровей на прекрасном открытом и высоком лбу, сильно выпуклые, как бы выпяченные глаза, сурово и как-то непреклонно смотревшие прямо в глаза собеседнику, грубый голос, угрюмый вид. Но иногда это суровое лицо все освещалось почти детски-добродушною улыбкой, что даже люди, мало знавшие Щедрина, но попадавшие под свет этой улыбки, понимали, какая наивная и добрая душа кроется под его угрюмой внешностью».

Улыбка эта исчезала с его лица вовсе, когда Салтыков-Щедрин общался с сильными мира сего, от которых во многом зависело существование журнала. Современники припоминали, что часто болевший Некрасов боялся просить Салтыкова-Щедрина съездить вместо себя для объяснений с цензорами, потому что знал, что он там непременно чего-нибудь резкого наговорит, а это повлечет за собой новые гонения на редакцию.

Раз как-то один из очередных министров внутренних дел пригласил к себе редакторов газет и журналов для предъявления им своих претензий и требований. Окончив официальную речь, министр изволил любезно пошутить с мрачно внимавшим ему Салтыковым-Щедриным.

«— Под каким вы меня соусом подадите теперь публике, Михаил Евграфович?

В ответ послышался громкий и угрюмый щедринский бас:

— Нам теперь не до соусов, ваше высокопревосходительство, не до соусов!»

Салтыков очень высоко ценил талант художника. Подменить его, считал он, нельзя ничем. Даже «чрезвычайная благонамеренность автора» не может стать «смягчающим обстоятельством». «Мы нимало не сомневаемся в этой благонамеренности,— ядовито замечал Салтыков по адресу одного современного ему беллетриста, — и даже уважаем ее, но не можем не смешивать это отличное качество с талантливостью, особливо после довольно многочисленных попыток, доказывающих, что благонамеренность растет, а талант умаляется».

Именно в эти годы определилась эзоповская манера Салтыкова — сатирика и публициста.

В России, в стране, где господствовала всесильная деспотическая власть с ее огромным бюрократическим хозяйством, а миллионы граждан были обращены в подданных, с трепетом ждавших своей участи, литература играла удивительную роль. Литература и ее неизменные и вечные спутники и проводники, журналы, сосредоточили в себе ту самую мысль, что со скалозубовской нетерпимостью изгонялась из всех по возможности сфер жизни. Литература в тайниках своих хранила человеческую совесть, которая становилась редкостью в мире угрюмого рабского молчания.

Преследователи свободной мысли свирепо уничтожали ее всюду: в науке, в политике, в быту. Казалось, уж сама мысль пришла в ветхость и вот-вот трагически оборвется. Но стоило ей прокрасться в мир искусства, стоило родиться на языке искусства, как целая толпа официальных и добровольных сыщиков озадаченно застывала перед ней, боясь схватить и провести сквозь строй.

Дело в том, что писатель, особенно писатель сатирический, зачастую пользуется своеобразной манерой повествования. Ее обычно именуют эзоповской, по имени древнегреческого баснописца Эзопа. Состоит эта манера, говорил Салтыков-Щедрин, в изобретении оговорок, недомолвок, иносказаний и прочих обманных средств. Сатирик называет эзоповскую речь «рабьей манерой писать», имея в виду ее вынужденный, связанный с цензурными давлениями, характер.

Сама по себе речь эта — внутренне свободного, независимо мыслящего художника. Салтыков-Щедрин

предупреждает, чтобы ее не путали с языком раболепствующей литературы. Он видел, как в русской печати рядом с «рабьей» манерой все громче заявлял о себе «язык холопский, претендовавший на смелость, но, в сущности, представлявший смесь наглости, лести и лжи». Впрочем, этот голос давно уже был ему знаком: ораторствовали все те же «литературные будочники», о которых он писал еще в «Свистке», сатирическом приложении к «Современнику».

Эзоповский «рабий язык» — совсем иное дело. Он был верным и поэтически экономным посредником между писателем и читающей публикой. Не станет художник, к примеру, подробно распространяться об очередной административной расправе с инакомыслящими, а ограничится одним междометием «фюить!». И этого читателю было достаточно, чтобы понять намек об аресте и ссылке неугодного властям человека. Нужно сатирику рассказать о чьем-то пристрастии к шпионству и доносам, употребляет он иносказательные выражения, вроде «сердцевед», «собиратель статистики» или «командированный чин». И читателю становилось ясно, о ком идет речь. Дикий произвол начальства именуется «цивилизацией», а пощечины, которые доставались мужику от полицейских — «аплодисментами».

Или открывается сатира указанием, что рассказ ведется о давно прошедших временах («В старые годы, при царе Горохе...», а то и «Нынче этого нет, а было такое время...»), хотя весь смысл дальнейшего повествования, бесспорно, относился к современности. Вводя в рассказы и сказки вместо людей разное зверье, Салтыков-Щедрин перестает стесняться самых сильных определений. Загримирует он, предположим, какое-нибудь высокопоставленное лицо под медведя и принимается при каждом удобном случае величать его «негодяем» и «скотиной». Все формы остроумной и едкой щедринской эзоповской речи не перечислить. С ними можно познакомиться ближе, лишь приступив к чтению самих сатир.

Но причина «неуловимости» писателя была не в одном эзоповском языке, который помогал зашифровывать мысли крамольные и властям неугодные. Ведь не могло же быть так, что эзоповская речь, доступная про-

грессивно настроенному читателю, оставалась непонятной идеологам реакции, цензорам и т. д. Встречались, разумеется, и курьезные цензоры, в глупости своей не уступавшие гоголевской Коробочке. Истории, с ними связанные, быстро становились анекдотами. В целом же власти превосходно угадывали смысл любого «неблагонадежного» сочинения.

Беда для них была в другом. Трудно было не столько обнаружить истинные намерения автора, сколько формально и вразумительно мотивировать обвинение в его адрес. Что тут станешь делать, если, как говорит один из персонажей «Горя от ума», отъявленный мошенник, плут Загорецкий: «...басни — смерть моя! Насмешки вечные над львами! над орлами! Кто что ни говори: хотя животные, а все-таки цари». Попробуй обвинить сочинителя в непочтительном отношении к царю, так ведь художник резонно заметит, что не он государя сравнивает с тварью животной, будь то хоть лев, хоть орел, хоть медведь, а сам, мол, обвинитель проделывает это сомнительное уподобление. У него же в басне, в сказке, в повести нет ни слова ни об императоре, ни о ком из приближенных его величества и т. п. И что самое главное — формально писатель всегда будет прав.

Удивительные особенности художественного образа, его многозначность, емкость и вместе с тем большая конкретность, зримость, вещность — все эти свойства, соединенные с писательским талантом, всегда оказывают обществу огромную услугу. Будят совесть, оживляют мысль, учат думать, чувствовать, сомневаться и верить.

Вот почему так сильно негодовал Салтыков-Щедрин, обращаясь и к хулителям литературы, и к недогадливым, воспринимающим все буквально читателям:

— Зачем, господа, вы думаете, что в моих очерках одни личности?

Сколько раз приходилось писателю слышать подобные вздорные суждения о своих сатирах то в форме поощрения, то высокомерной издевки. Сколько раз принимался он растолковывать публике, что имеет в виду не личности, а известную совокупность явлений, систему, строй.

«Отечественные записки» непрерывно подвергались правительственным репрессиям, готовые номера арестовывались, чаще всего из-за произведений самого редактора, во многих книжках журнала делались поспешные изъятия всех «предосудительных» мест.

Да иначе и быть не могло. Ведь даже оставаясь на почве литературно-теоретической, выступая с критическими статьями и рецензиями, Салтыков-Щедрин открыто и недвусмысленно поддерживал материалистические идеи Белинского и Чернышевского. В писательском творчестве он продолжал горячо и последовательно отстаивать руководящую роль разумной мысли, художественного сознания.

Постижение «безвестной жизни масс» — так Салтыков-Щедрин выражал главную цель художника. «Единственная плодотворная почва для сатиры есть почва народная, ибо ее только и можно назвать общественной в истинном и действительном значении этого слова. Чем далее проникает сатирик в глубины этой жизни, чем весче становится его слово, тем яснее рисуется его задача, тем неоспоримее выступает наружу значение его деятельности». Нельзя яснее определить демократический смысл сатиры, ее народные истоки.

Задача сатирического искусства — исследование всего многообразия жизненного процесса, проходящего под игом «призраков». «Призраки», по Салтыкову,— это внутренне прогнившие, отвергнутые историей дворянско-буржуазные устои: социально-экономические, государственные, семейно-бытовые.

Салтыков призывает направлять жало сатиры не против отдельных, пусть даже на редкость отвратительных личностей, а против, как он говорил, силы вещей, против общественной стороны жизни. «Последнее время, — писал он, — создало великое множество типов совершенно новых, существования которых гоголевская сатира и не подозревала». Речь шла о сатире *общественной*, которая замечает и исследует обширные явления, «моровые поветрия», время от времени поглощающие целые массы людей.

Сатирик внимательно и тонко наблюдал психологию бессовестности, обнажал своеобразный процесс оподления людских душ, наделенных властью произвола.

Эта устремленность к широким зарисовкам, к собирательным, групповым или «стадным» образам не исключала внимания к психологии персонажей, к их внутреннему миру, как бы убог и ничтожен он ни был. «Как хотите, а в каждом человеке есть зародыш совести, — с полемическим пафосом утверждал Салтыков. — Совесть эта может бездействовать только до тех пор, покуда не выступает вперед анализ, а вместе с ним и сознательность. Главная заслуга сознательности в том заключается, что она делает невозможным медные лбы, пробуждает в человеке совесть...»

На рубеже семидесятых годов Салтыков пишет крупные программные циклы очерков «Признаки времени» и «Письма о провинции», обличающие крепостническую реакцию.

Свою эпоху Салтыков окрестил самодовольной современностью, а себя называл летописцем минуты. Приметив однажды какие-то существенные явления российской жизни, Салтыков затем продолжал интересоваться, как изменяются замеченные им ранее признаки времени. Такое «прослеживание» могло продолжаться десятилетиями. Вот отчего все сатирическое наследие Салтыкова как бы сливается воедино, тысячами явных и мало приметных связей, образов, ассоциаций.

Сатирик стремится воспроизвести жизнь страны в целом. Он интересуется экономикой и политикой, государственным устройством и поведением сословий, классов, партий, положением народа. Щедринские произведения — это, как правило, циклы очерков и рассказов, ежемесячно помещаемые в журнале. Цикличность в творчестве Салтыкова-Щедрина, как справедливо замечает исследователь творчества сатирика А. С. Бушмин, обусловлена стремлением писателя сделать свои произведения, во-первых, широким зеркалом общественной жизни и, во-вторых, орудием немедленного вмешательства в жизнь [1].

Прежде сатирик уже дал зарисовки помещиков, недовольных реформой, заботящихся о сохранении сословных привилегий. С тех пор многое в русском обществе

---

[1] См.: *Бушмин А. С.* Сатира Салтыкова-Щедрина. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1959, с. 412.

переменилось. Силу взяли реакционные дворянские группы. Они яростно и небезуспешно добивались различных возмещений за утраченную после 1861 года крепостническую власть. Растущую помещичью агрессию, деятельное «хотение» вчерашних крепостников сохранить свои хозяйские позиции сатирически представил Салтыков в типе Пафнутьева («Письма к тетеньке»). Новое обогащение и развитие «бунтующего» крепостника осуществляется в «Дневнике провинциала в Петербурге», где появляются Прокоп и Дракин...

Довольно необычным явлением в литературе стали щедринские собирательные образы. У предшественников Щедрина мы не найдем полного развития этих художественных форм. Только у Гоголя в «Мертвых душах» они уже гениально намечены в авторских толкованиях типов Манилова, Собакевича, Коробочки, Ноздрева.

Щедрин широко ввел и утвердил в литературе собирательную характеристику, групповой портрет. Лучший тому пример — бессмертные щедринские градоначальники и глуповцы из «Истории одного города».

ГОРОД ГЛУПОВ



„История одного города» Салтыков печатает в «Отечественных записках» в 1869—1870 годах. Новой щедринской вещи журнальная критика сразу же отводит место рядом с шедеврами Льва Толстого, Тургенева, Гончарова, Островского не только по читательскому резонансу, но и по истинным масштабам дарования автора.

По давней традиции каждый период в жизни страны исторической литературой «привязывался» к имени того или иного монарха, к очередному царствованию. Предлагаемая сатириком история одного города также распадается на отдельные главки, каждая из которых связана с именем нового градоначальника. Вслед за блестящим сатирическим изложением «корени происхождения глуповцев» идет «опись градоначальникам». Затем писатель знакомит нас с «биографиями только замечательнейших» отцов города.

Салтыков-Щедрин широко и смело обратился к гротеску, фантастике, гиперболе, к разным формам художественного иносказания. Весь монархический строй России, которому официальные идеологи старались приписать исконную мудрость и многоопытность, оказался под сатирическим прицелом.

Город Глупов быстро стал одним из самых известных на Руси городов. В нем современники угадывали уже не просто Пензу, Рязань или Саратов, как это случилось с Крутогорском («Губернские очерки»), в котором без труда распознавалась Вятка или любая другая провинциальная «столица». За Глуповым отчетливо вставали контуры всего Российского государства. Впрочем, Глупов — это и была вся Россия с ее властвующими паразитами, порядком поглупевшими обывателями, с ее питающимся лебедой мужиком.

К гротеску и фантастике Салтыков обратился, чтобы исследовать не только поступки, которые человек в реальной жизни беспрепятственно совершает, но и те, которые он, несомненно, совершил бы, если б умел и смел.

Стоит только, размышлял сатирик, развязать человеку руки, дать ему неограниченную свободу действий, мысли, высказываний — и перед нами уже предстанет совсем другой человек. Избавленный от обычного для него лицемерия, он с необыкновенной яркостью обнаружит в себе такие свойства, которые до сих пор оставались незамеченными. Но это совсем не будет преувеличением или искажением жизни. Просто человек будет воспроизведен не только таким, каким он представляется на поверхностный взгляд. Перед нами будет весь он, доступный лишь очень пристальному и внимательному наблюдению и лишенный одного только внешнего лоска. Без такого разоблачения невозможен правдивый суд над ним. Салтыков говорил не раз, что во всяком человеке кроется масса «готовностей», то есть таких свойств, которые еще не проявились, не раскрылись вполне. Задача художника — коснуться этих «готовностей» и показать человека в таких поступках, от которых он в обыденной жизни отказывается.

Коллекцию жизнеописаний глуповских градоначальников открывает Брудастый. В голове градоправителя вместо мозга действует органный механизм, наигрывающий всего-навсего два слова-окрика. Сознательно нарушено жизненное правдоподобие. Но и художественный эффект достигается наибольший, и скрытые «готовности» Брудастого вдруг раскрываются с необыкновенной силой и наглядностью. Прием этот и называется гротеском.

Отводя упреки в преувеличении, в искажении действительности, Салтыков резонно замечал, что «если б вместо слова «Органчик» было бы поставлено слово «Дурак», то рецензент, наверное, не нашел бы ничего неестественного... Ведь не в том дело, что у Брудастого в голове оказался органчик, наигрывавший романсы «не потерплю!» и «раззорю!», а в том, что есть люди, которых все существование исчерпывается этими двумя романсами. Есть такие люди или нет?»

На этот отлично рассчитанный иронический вопрос мог быть дан только положительный ответ. Вся современная политика самодержавия, не говоря уже об истории царизма, была полна примерами вопиющих проявлений произвола и дикости. Ведь угрожающий клич «раззорю!» фактически стал лозунгом пореформенного грабежа крестьян. На памяти у всех были усмирительные годы, когда «не потерплю!» Муравьева-вешателя оглашало Русь и польские земли. Целые толпы муравьевских чиновников рыскали по Польше и по северо-западным губерниям России, террором восстанавливая порядок. «Моя личность, — самодовольно отмечал один из усмирителей, — наводит панический страх на всех без исключения поляков, в присутственных местах чиновники кланяются в пояс, а чуть выехал из города, так всеобщая тревога по уездам».

В 1871 году стали известны результаты сенатской ревизии Пермской губернии. Неожиданно всплыли чудовищные по своей невероятности факты. Выколачивая недоимки, полиция нещадно секла крестьян. Тысячи неплательщиков высылались в Сибирь. В деревнях вспыхивали бунты и даже организовывались в ответ целые секты неплательщиков. В губернии был популярен административно-полицейский девиз «уйму и упеку». Так, даже окрики Брудастого, знаменитые «не потерплю!» и «раззорю!» после десяти лет «либеральных» реформ подтверждались жизнью. «Небывальщина гораздо чаще встречается в действительности, нежели в литературе», — замечал сатирик.

Органчик — тип администратора-автомата, куклы, марионетки, который возник в благоприятной обстановке страха и беззакония, царивших в стране.

Салтыков ядовито разоблачал аморализм самодержавия, бесчинства фаворитов монарха, авантюры дворцовых переворотов. Сказание о шести градоначальницах особенно богато язвительными историческими аналогиями и намеками. Угадываются здесь нравы царствования Екатерины I, Анны Иоанновны, Анны Леопольдовны, Елизаветы, Екатерины II. Но Салтыков писал сатиру не на историю. Его многочисленные гиперболические картины изображали современную политическую жизнь, находящуюся под «игом безумия». Каждая фраза в этих сценах — преувеличение,

каждое слово — невероятность. Но именно это скопище мрачно-фантастических штрихов передавало зловещий колорит жизни страны.

Салтыков не останавливался перед самыми смелыми гиперболами. Фантазия его рисовала картины остервенелой междоусобицы. Во время осады на большом клоповном заводе паразиты, защищавшие «одну из претенденти» на глуповский «престол», Дуньку, раздраженные запахом человеческого тела, не находя пищи за пределами укрепления, набрасываются на свою предводительницу: «В самую глухую полночь Глупов был потрясен неестественным воплем: то испускала дух толстопятая Дунька, изъеденная клопами». Бескультурье, паразитизм и нечистоплотность правящей клики сатирически олицетворены в образе целого полчища разъяренных клопов. Художник сознательно возбуждал в читателе чувство омерзения и отвращения.

Разных правителей перевидел Глупов. Один из них, Двоекуров, завел пивоварение и медоварение, ввел в употребление горчицу и лавровый лист, а также, покровительствуя наукам, написал сочинение «Жизнеописания замечательнейших обезьян». Другой, маркиз де Санглот, отличавшийся легкомыслием и напевавший непристойные песни, «летал по воздуху в городском саду и чуть было не улетел совсем, как уцепился фалдами за шпиц», и оттуда с превеликим трудом был снят. Третий, Василиск Бородавкин, начав кампанию против недоимщиков, спалил 33 деревни и «с помощью сих мер взыскал недоимок два рубля с полтиною». Пришедший ему на смену Онуфрий Негодяев размостил вымощенные Бородавкиным улицы и из добытого камня настроил монументов.

Пережил Глупов и майора Прыща, что оказался с фаршированной головой, и статского советника Никодима Иванова, который «был столь малого роста, что не мог вмещать пространных законов».

Знакомясь с «войнами за просвещение», которые с анекдотическим упорством вел Бородавкин, читатели — современники Салтыкова-Щедрина — вспоминали не только картофельные бунты сороковых годов, но и «цивилизаторские» походы царских войск в Среднюю Азию, «обрусение» западных областей, насаж-

дение классицизма в отечественной системе образования.

Политика просвещения и культурного преобразования в стране олицетворена в баталиях, которыми руководил ретивый градоначальник, решивший повсеместно ввести в Глупове горчицу и персидскую ромашку. Одна из таких «войн за просвещение» описывается подробно. Ожившие оловянные солдатики остервенели и бросились ломать избы; отказавшаяся принимать горчицу слобода покорилась; «невежество было подавлено, и на место его водворено просвещение».

В особом отступлении писатель счел необходимым прокомментировать этот эпизод, обратив внимание на то, что он может показаться читателю чересчур фантастическим. «Возможно ли, — спрашивает Щедрин, — поверить истории об оловянных солдатиках, которые будто бы не только маршировали, но под конец даже налились кровью?» И тут же многозначительно замечает: «Бывают чудеса, в которых, по внимательном рассмотрении, можно подметить довольно яркое реальное основание».

Фантазия сатирика, оттолкнувшись от административной практики правящих властей, от их мертвой бюрократической политики, возбуждавшей в обывателе шкурный страх, создала гротескные образы Брудастого, Прыща, Бородавкина, оловянных марионеток, идущих в атаку клопов.

В «Истории одного города» Салтыков проявил себя и блестящим мастером стилизации, пародируя архивные документы, циркуляры, уставы, законы. Издеваясь по существу, он одновременно точно следовал принятым формам, традиционному слогу. Так возникли сочиненные Беневоленским «Устав о свойственном градоправителю добросердечии» или, например, «Устав о добропорядочном пирогов печении»:

«1. Всякий да печет по праздникам пироги, не возбраняя себе таковое печение и в будни.

2. Начинку всякий да употребляет по состоянию. Тако: поймав в реке рыбу — класть; изрубив намелко скотское мясо — класть же; изрубив капусту — тоже класть. Люди неимущие да кладут требуху.

Примечание. Делать пироги из грязи, глины и строительных материалов возбраняется» и т. д.

Салтыков заканчивал работу над «Историей одного города» с большим подъемом. Сатира имела успех. Ее отдельные образы оживленно обсуждались на страницах газет и журналов. О каждой новой главе, появлявшейся в «Отечественных записках», печатались подробные информации. В одном из писем в начале 1870 года И. С. Тургенев признавался: «Во втором нумере «Отечественных записок» я уже успел прочесть продолжение «Истории одного города» Салтыкова и хохотал до чихоты... Он прелестен...»

Галерея глуповских градоначальников завершилась грандиозной фигурой Угрюм-Бурчеева. В нем слились и бездушный автоматизм Органчика, и карательная неуклонность Фердыщенки, и административное доктринерство и педантизм Двоекурова, и жестокая въедливость Бородавкина, и идолопоклонническая одержимость Грустилова. Все эти начальственные качества соединились и переплавились в Угрюм-Бурчееве:

«Он был ужасен; но сверх того, он был краток и с изумительною ограниченностью соединял непреклонность, почти граничившую с идиотством». Взор его, от которого, казалось «небо обрушится, земля разверзнется под ногами... был взор, светлый, как сталь, взор, совершенно свободный от мысли и потому недоступный ни для оттенков, ни для колебаний. Голая решимость — и ничего более».

В этом блестящем создании щедринской фантазии схвачены все ухищрения бюрократической власти, вся ее законодательно-административная система, покоящаяся на принуждении, шпионаже, муштре.

В знаменитом казарменном идеале Угрюм-Бурчеева заметны черты наиболее реакционных деспотических режимов не одной какой-нибудь эпохи, а многих эпох. Дело отнюдь не ограничивается аракчеевщиной, или Николаем Палкиным, или вообще русским самодержавным строем как таковым. Салтыков-Щедрин метил и во французский бонапартизм, и в милитаристский режим Бисмарка. Угрюм-бурчеевщина — это гениальное сатирическое обобщение, проглядывающее в XX веке в откровенно фашистском обличии.

Автор «Истории одного города» считал себя защит-

ником народа и более последовательным, чем сам народ, врагом его врагов.

Смех в народных сценах и эпизодах лишен уничижительной окраски. Фигуры Брудастого, Прыща с фаршированной головой или Угрюм-Бурчеева окружает атмосфера беспощадной издевки и отвращения. По-иному предстают в «Истории» Ивашки, глуповцы. Главы, которые сатирик посвящает бедственной судьбе глуповцев, страдающих под угрюм-бурчеевским игом, проникнуты трагическими мотивами. Смех уступает место горечи и негодованию.

Русские либералы глядели на народ как на пассивную, угнетенную жертву, которой смогут помочь лишь верхи общества. Салтыков-Щедрин видел в народе самостоятельного исторического деятеля, не поднявшегося еще к активной общественной борьбе.

Сатирик использовал свои долгие наблюдения над жизнью народа, знание его быта, психологии, языка, устного творчества. Собирательная характеристика глуповцев опиралась на современную Салтыкову-Щедрину структуру русского общества. Метко передавалось различие экономического, общественного положения сословий и групп, различие их взглядов.

Но главным для писателя было то общее, что объединяло разные слои глуповцев. Это общее — трепет, добровольное подчинение очередным усмирительским мероприятиям власти, послушное и быстрое приспособление и, наконец, страх и неразлучное с ним начальстволюбие — было проявлением рабьей глуповской психологии.

В «бунтарских» эпизодах «Истории одного города» различимы некоторые существенные стороны народных движений, в том числе и в недавнюю эпоху реформы. Как и автор «Кому на Руси жить хорошо», Салтыков-Щедрин воспользовался историческими красками этого трудного, «лихого» времени. Почти все бунтарские эпизоды в «Истории» освещены авторской улыбкой, порой иронической, порой полной недоумения и горечи, порой скептической. Нет здесь только пустого шаржирования, «веселонравия», как усердно и неугомонно трубила об этом либеральная и реакционная печать.

Сам Салтыков настойчиво повторял: «Изображая жизнь, находящуюся под игом безумия, я рассчитывал на возбуждение в читателе горького чувства, а не веселонравия». В сценах «бунта на коленях» слышатся вопли высеченных, крики и стоны обезумевшей от голода толпы, зловещая дробь барабана вступающей в город карательной команды.

В русской прозе трудно найти более выразительную по проникновенному, хватающему за сердце драматизму картину деревенского пожара, чем та, которая дана в «Истории одного города». Художник создает динамичное изображение полыхающего по сухим строениям огня. С каким-то щемящим лиризмом рисует он переживания погорельцев, их бессильное отчаяние, когда человек уже не жалуется, но с неотвратимой настойчивостью начинает сознавать, что наступил «конец всего».

Художественные картины Салтыкова-Щедрина вобрали в себя все то, что сам он знал о русской деревне, и все то, что сообщала демократическая литература и русская печать о невероятной нищете, о разорении мужика после реформы, о пожарах, ежегодно истреблявших двадцать четвертую часть всей деревянной и соломенной России.

Некоторые эпизоды «Истории одного города» соотносятся с некрасовскими сценами из народной жизни, с некрасовской поэтической характеристикой народа в «Кому на Руси жить хорошо». Основные главы первой части поэмы Некрасова написаны примерно в то же время, что и сатира Салтыкова-Щедрина, и опубликованы в тех же самых «Отечественных записках». Оба художника сосредоточивали внимание не на обильной и могучей, а на убогой и забитой Руси.

Салтыков, как и Некрасов, различал в народной массе смелых, героических людей. С разбега бросается в горящую избу крестьянский парень, чтобы спасти Матренку. Незаурядной нравственной силой наделен упорный правдолюбец Евсеич. Да, в конце концов, и глуповцы не безответны. Они ропщут, бунтуют. Но дремучая темнота, непонимание своих интересов и неверие в свои силы делает их протест бесплодным.

Глуповцы почти всегда выступают массой. Не в одиночку, а, как и некрасовские мужики, скопом, тол-

ной, всем миром появляются они на страницах «Истории». Валом валят глуповцы к дому градоначальников. Всей громадой бросаются на колени. Толпами бегут из слобод и деревень, пораженных голодом. На лицах оцепеневших от горя глуповцев отражаются зловещие, багровые блики пожаров. Шумно и бестолково галдит сходка, выбирая ходоков. Эхом хмельных песен и гульбищ откликаются долы в пору, когда глуповцам на какой-то момент легче становится жить. И умирают глуповцы толпами, всей массой. Когда же автор останавливается на рядовых «одиночных» глуповцах, то появляются они, словно запевалы в хоре, и тянут обычный мотив глуповской песни — мотив покорности и послушания.

Одному из близких друзей Пушкина, П. Я. Чаадаеву, принадлежат слова, в чем-то главном очень близкие Салтыкову-Щедрину: «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами... Я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истиной». Это сложное и противоречивое чувство Лермонтов провозгласит «странною любовью» к отчизне. Не пройдет и полувека после щедринского открытия города Глупова, как В. И. Ленин, вспомнив слова Чернышевского о жалкой нации рабов, назовет их словами настоящей любви к родине. О Салтыкове-Щедрине с полным правом можно сказать то же самое, что говорил В. И. Ленин о Чернышевском — авторе «Пролога». Сатирик любил народ тоскующей любовью, «тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения» [1].

Говоря о глуповцах в «Истории одного города», нельзя обойти молчанием своеобразный спор Салтыкова-Щедрина с Л. Толстым — автором «Войны и мира», создателем каратаевского типа.

Демократизм Л. Толстого сказался в том, что он почувствовал решающую силу народа в истории. Но художник одновременно утверждал, что массы движут историю бессознательно, пассивно. Л. Толстой не

---

[1] См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 26, с. 107.

мог согласиться с тем, что люди в состоянии активно, сознательно изменять ход крупных исторических событий. У Л. Толстого нашлось немало почитателей, которые тенденциозно принялись пропагандировать идеи исторического фатализма.

В главе «Поклонение мамоне и покаяние» Салтыков высмеял выступления философа-идеалиста Н. Н. Страхова о «Войне и мире». Стрелы своего сарказма сатирик направил против идеализации патриархальщины, каратаевщины. Он считал, что взгляд на историю как на «сновидение», как на нечто такое, что совершается без участия разума, стихийно, обезоруживает народ. Не будь у глуповцев покорного, терпеливого, если угодно каратаевского, отношения к жизни, к наносному ее хламу, не будь у них пассивного подчинения капризам истории, иначе сложилась бы их судьба.

Характеристикой глуповцев сатирик невольно метил в воспетые Толстым «бездумность» и пассивность Каратаева. В «Истории одного города» Салтыков-Щедрин отчетливо высказал противоположную точку зрения: научить народ рассуждать, заразить его духом исследования, то есть помочь ему бороться, помочь ему сознательно и открыто идти против брудастых и угрюм-бурчеевых.

Два столь разных, несхожих взгляда — не плод кабинетных занятий, отвлеченных рассуждений. В них отразились сила и слабость русского освободительного движения, сила и слабость издалека назревавшей в стране демократической революции.

Свою «Историю одного города» сатирик заканчивал картиной готовящегося восстания против Угрюм-Бурчеева. Салтыков-Щедрин давал понять, что свалить царизм может и должен народ. Все дело за пробуждением его сознания. Но реальная жизнь еще не создала условий для этого. Писатель с горькой ясностью понимал, что народ к революции не готов, что могучий дух его не разбужен. Не видны были и ближайшие перспективы свержения самовластья.

Вот из каких трагических раздумий возникла знаменитая финальная сцена смерча, когда «земля затряслась, солнце померкло... глуповцы пали ниц», когда «раздался треск» и Угрюм-Бурчеев «моментально исчез, словно растаял в воздухе.

История прекратила течение свое».

Здесь и желание скорых перемен в стране террора и страха, и желание увидеть народ пробудившимся. Но здесь — и справедливо горький щедринский скепсис, трезвый взгляд на жизнь. Это художественный образ, и, как всякий художественный образ, он не поддается однозначной расшифровке, прямолинейному истолкованию. Последние строки «Истории одного города» несут на себе печать прозорливой недоговоренности сатирика, в душе своей свято хранившего идеалы будущего.

СРЕДИ ХИЩНЫХ И СТАДНЫХ ЛЮДЕЙ



К живописной группе глуповских градоначальников в семидесятые годы Салтыков-Щедрин присоединяет помпадуров и помпадурш. Это типы пореформенных администраторов, истинных хищников, быстро сбросивших маску либерализма.

Особое место в цикле «Помпадуры и помпадурши», над которым сатирик работает на протяжении десяти лет, с 1863 по 1874 год, и который при жизни автора выдержал четыре издания, занимают верховные администраторы дореформенной складки. «Внутренний мир» всевластных бюрократов запечатлен в переломный момент их карьеры. Старые чиновные зубры вынуждены уйти в отставку и со стороны следить за стремительным продвижением своих более удачливых соперников.

Помпадур — это крупный сановный администратор. Деятельность его отмечена произволом и глупостью. Русское звучание этого слова походит на колоритное «самодур». Чутье Салтыкова-Щедрина безошибочно угадало, что неожиданное соединение понятий *помпезность* и *дурость* вызовет комический эффект.

Ценою железной выдержки, угодничания и долготерпения помпадуры самоуправно пользовались властью. Понятно, что вынужденная отставка воспринималась ими как нечто катастрофическое. Однако старые бюрократы начинали явно симпатизировать своим преемникам, как скоро узнавали, что те по-прежнему книгу законов кладут под себя, недоимки собирают с рвением, обывателей секут самолично.

Саркастическая усмешка писателя-демократа видна на тех страницах, где передается изменившееся отношение «помпадура в отставке» к реформам:

«— Так, вашество, одобряете?— спрашивают его иногда собеседники.

— Одобряю-с,— отвечает он,— сначала, конечно... опасался-с, но теперь... одобряю-с!

— Чего же, собственно, вашество, опасаться изволили?

— Упразднения власти-с!

— А теперь одобряете?

— Теперь одобряю-с».

В этом живом комическом диалоге жало сатиры направлено против реформистского курса царизма, который оставлял без перемен основы прежнего порядка. Психология административного приспособленчества разоблачена была писателем в своеобразной «романсной» трилогии («Здравствуй, милая, хорошая моя», «На заре ты ее не буди», «Она еще едва умеет лепетать»). Автор рассказывал о карьере Митеньки Козелкова, помпадура-пустослова. Сатира обнажила политическую суть правительственного либерализма с его лицемерием и словоблудием. Салтыков-Щедрин стремился в глазах читателей разоблачить коварную тактику заигрывания властей с общественным мнением. «...Чтобы хорошо вести дела, нужно только всех удовлетворить,— рассуждал Козелков. — А для того, чтобы всех удовлетворить, нужно всех очаровать, а для того, чтобы всех очаровать, нужно — не то, чтобы лгать, а так объясняться, чтобы никто ничего не понимал, а всякий бы облизывался».

В главе «Мнения знатных иностранцев о помпадурах» результаты «великой» реформы подытожены в воспоминаниях Хабибуллы — воспитателя молодого иомудского принца: «Ай-ай, хорошо здесь! — говорил прынц: — народ нет, помпадур есть — чисто! Айда домой риформа делать! Домой езжал, риформа начинал. Народ гонял, помпадур сажал: риформа кончал».

Ряды хищных щедринских героев в 1870—1872 годах пополняют «ташкентцы». Первоначально «ташкентские» очерки вызваны были колониальной политикой царской России в Средней Азии. Но они быстро превратились в злую сатиру на наглых исполнителей любых реакционных предначертаний. Щедринский ташкентец — это каратель и усмиритель вольнолюбцев, это благонамеренный хищник.

Тем, кто хотел бы низвести сатиру до высмеивания военно-режимных порядков лишь в Туркестанском генерал-губернаторстве, сам Салтыков-Щедрин остроумно отвечал: Ташкент — «страна, лежащая всюду, где бьют по зубам». Идеал ташкентца — кусок. Его жизненный девиз — «жрать». Во имя этого идеала и под этим девизом ташкентец готов на все, на любое беззаконие и произвол, на любое преступление.

Салтыкова интересуют условия, рождающие ташкентцев. Сатирик принимается за «родопроисхождение» героев. Он повествует о детских и юношеских годах будущих администраторов, финансистов, юристов. Как бы по общему плану рассказывает Салтыков-Щедрин об основных мотивах жизни ташкентца-аристократа Персианова, исполнителя-палача Хмылова, теоретика ташкентского обогащения Велентьева и прочих героев. Писатель осмысляет самую *диалектику оподления души* в порочной общественной среде.

Но для этого нужно было пойти новаторским путем, отказаться от ходовых сюжетов и обычных рамок *семейного* романа, от традиционных любовных интриг. Салтыков-Щедрин обосновывает идею создания нового *общественного* романа.

В этом направлении он продвигался от «Господ ташкентцев» к «Дневнику провинциала в Петербурге», публиковавшемуся в «Отечественных записках» в 1872 году. «Представьте себе, читатель — пишет Салтыков-Щедрин,— современного русского беллетриста, задавшегося задачею Гоголя: провести своего героя через все общественные слои (Гоголь так и умер, не выполнив этой задачи)». В «Дневнике провинциала» сатирик как раз и задумал провести своих героев через общественные слои пореформенной России.

Сюжет «Дневника...» очень динамичен. Головокружительны похождения провинциала и его приятеля Прокопа Ляпунова, попавших в Петербург семидесятых годов. Смешны и злы многочисленные истории, в которые впутываются главные герои, их встречи с наводнившими столицу дельцами, чиновниками, консерваторами, либералами. В сюжет вплетаются эпизоды в форме сновидения. Провинциал фантастически превращается в миллионера, которого друг его, Прокоп, обкрадывает. В результате затевается долгий и ост-

рый судебный процесс, разыгрывается изнуряющая обе стороны борьба за наследство. Провинциал попадает к судебным чиновникам, адвокатам, купцам, поместным дворянам, в конце концов, свой стремительный жизненный бег он заканчивает... в больнице для умалишенных.

Провинциал — человек сороковых годов. Но политическая бесхребетность главного героя «Дневника...», склонность его к нескончаемому лавированию, во многом сближает его с оголтелым помещиком Прокопом. Прокоп — хищник и циник, рядовой многотысячной, алчущей реванша помещичьей братии.

Общий тон жизни, считает автор, задают «стадные люди». Люди-хищники, с живостью саранчи обступившие государственный пирог, в представлении сатирика, «имеют одну или почти одну и ту же складку», так как чересчур похожи друг на друга и руководятся одними и теми же побуждениями. Гротескное воображение писателя рисует их... кадыками. Кадыки — люди как люди, целое стадо людей, ринувшихся из всех провинциальных углов в Петербург за «куском», стадо жадное, шумное. Чтобы представить себе этих типов, далеких от человеческой сущности, достаточно одной какой-нибудь выпирающей от жира и плотоядности части тела вроде затылка или массивного кадыка.

Рядом с кадыками, каждый на свой манер, озоруют и либеральничают пенкосниматели из числа журналистов, литераторов, экономистов, усердно и лицемерно воспевающих реформы.

Сатирически исследуя все общественные слои, Салтыков-Щедрин едко передразнивает, пародирует газетные передовицы, ученые диссертации, планы государственных мероприятий, похоронные церемониалы, молитвы, рекламные объявления, процедуру судебных заседаний. Оживает атмосфера, в которой легко дышится «стадному человеку», втянутому в водоворот пореформенных хищнических отношений.

Салтыков впервые смело вводит литературных героев прошлого в качестве равноправных персонажей. На страницах «Помпадуров и помпадурш», «Дневника провинциала в Петербурге» и других щедринских сатир мы встречаемся со старыми знакомыми, которых нам представили еще Фонвизин, Грибоедов, Гоголь,

Тургенев, Гончаров: с Иваном Ивановичем Перерепенко, Аркадием Кирсановым, Лаврецким, Рудиным, Марком Волоховым. Известные литературные персонажи, по мысли сатирика, хорошо закреплены в сознании читающей публики, и потому их можно безо всяких околичностей вводить в собственное повествование. Часто, правда, менялось социальное положение, профессия, сфера, в которой действовал привлеченный «со стороны» герой.

Особенно яркий обличительный эффект достигался тем, что фонвизинские и гоголевские герои легко переносились в современность, успешно действуя уже в новой обстановке и чувствуя себя здесь как нельзя лучше. Сатирик утверждал этим мысль о живучести старых порядков. Он доказывал, что опорой самодержавия и после реформ служат ноздревы и держиморды, а над устройством страны по-прежнему хлопочут скотинины и что процесс «оподления» захватывает даже в прошлом положительных героев.

К концу 70-х годов в «Господах Молчалиных» Салтыков-Щедрин подошел к оригинальнейшему художественному осмыслению типа «стадного», среднего человека. Таких людей подавляющее большинство. Они укрываются обычно в темной массе «и других». Молчалины — это «зауряд»-люди, люди массы, люди толпы.

Молчалиных много, рассуждает сатирик, и потому на них не обращают внимания. Но это несправедливо. Крупные злодеи ничего не могли бы, если б у них под руками не было легионов молчалиных.

От грибоедовского героя щедринский Молчалин унаследовал талант умеренности и аккуратности. Но Салтыков-Щедрин значительно усложнил эти свойства. Он вывел Молчалина из барского фамусовского дома на арену истории. Он размножил героя. Это уже не прежний Алексей Степаныч Молчалин из «Горя от ума». Это *господа молчалины* — собирательный тип того же диапазона, что и помпадуры, ташкентцы, пенкосниматели и т. д.

Молчалины не инициаторы. Они всегда исполнители. Но зла делают ничуть не меньше, чем первые. Молчалины — бессознательные участники преступлений в государственных масштабах. Но они совершенно искренне не считают себя жестокими или неправыми.

Они умеренные, послушные, они аккуратные, не больше.

«Я видел однажды Молчалина, который, возвратившись домой с обагренными бессознательным преступлением руками, преспокойно принялся этими самыми руками разрезывать пирог с капустой.

— Алексей Степаныч! — воскликнул я в ужасе, — вспомните, ведь у вас руки...

— Я вымыл-с, — ответил он мне совсем просто, доканчивая разрезывать пирог...»

Молчалин немыслим без Фамусова — благодетеля и «нужного человека». Постепенно тушит в себе Молчалин и без того скупые человеческие искры и всячески стремится понравиться нужному человеку. Пускаются в ход лесть, деловая ловкость, подхалимство, предательство.

Сатирик задается вопросом: кто виновен, что в жизни укореняется психология шкурнических оглядок, унизительная психология? «Насколько ответственен в этом тот или другой человек персонально, — писал он, — этот вопрос всегда казался мне сомнительным». До молчалинского состояния низводит человека строй общественных отношений.

Дети молчалиных начинали заметно отрываться от веры отцов. Молчалинское мировоззрение бессильно было тронуть умы и сердца молодого поколения, формировать его идеалы. У отцов возникли острые конфликты с детьми. Схватки эти часто разрешались драматически.

«Атмосферу надо изменить, всю атмосферу», — провозглашает Салтыков-Щедрин устами одного из героев рассказа «Больное место».

Сатирик называл три «священных принципа» современного строя — государство, семью и собственность. Каждому из них он посвятил многие из предшествующих сатир. Теперь пришло время собрать их и исследовать как бы в едином фокусе.

Циклами сатирических очерков «Благонамеренные речи» и «Убежище Монрепо» в семидесятые годы в русскую литературу входит сравнительно недавно народившийся персонаж — «чумазый». Герой этот у Салтыкова-Щедрина предугадывался еще в 1857 году в финальной сцене «Смерти Пазухина», в заклю-

чительной реплике одного из главных персонажей Прокофия Ивановича:

«— Теперича я совсем человек стал другой! Теперича я почувствовал, что я со своим капиталом пользу принести должон... Прочь с дороги! Потомственный, почетный гражданин Прокофий Иванов сын Пазухин идет!»

Основной опорой государственного режима постепенно становится новый хозяин жизни, цепкий, наглый хищник — буржуа.

И в России, и за рубежом непрестанно расхваливаются основы собственнического общества. Многие органы отечественной печати с восторгом слагают гимны буржуазному прогрессу.

Сатирическими образами купца 1-й гильдии Осипа Ивановича Дерунова, преуспевающих Разуваева и Колупаева Салтыков-Щедрин открыл читающей России новых «столпов» самодержавной власти. М. Горький тонко подметил щедринское свойство улавливать «политику в быте». В сугубо бытовой рисунок писатель мог вдохнуть глубокую идейность. В очерке «Кандидат в столпы» есть классическое в этом смысле описание Московской гражданской палаты:

«Выходишь, бывало, сначала под навес какой-то, оттуда в темные сени с каменными сводами и с кирпичным, выбитым просительскими ногами полом, нащупаешь дверь, пропитанную пóтом просительских рук, и очутишься в узком коридоре. Коридор светлый, потому что идет вдоль наружной стены с окнами; но по правую сторону он ограничен решетчатой перегородкой, за которою виднеется пространство, наполненное сумерками. Там, в этих сумерках, словно в громадной звериной клетке, кружатся служители купли и продажи и словно затевают какую-то исполинскую стряпню. Осипшие с похмелья голоса что-то бормочут, дрожащие руки что-то скребут. Здесь, по манию этих зверообразных людей, получает принцип собственности свою санкцию! здесь с восхода до заката солнечного поются ему немолчные гимны! здесь стригут и бреют и кровь отворяют! здесь, за этой решеткой».

Мир «купли-продажи» омерзителен и нечистоплотен. Царит в нем нечто от смешанной атмосферы чадной кухни, неприбранной цирюльни, вонючей бойни.

Это мир стяжателей-маньяков, мир жестоких душителей и их жертв, отовсюду ожидающих подвоха: «...вот сейчас! сейчас налетит «подвох»! — сейчас разверзнется под ногами трапп... хлоп! И начнут тебя свежевать! вот эти самые немытые, нечесаные, вонючие служители купли и продажи! Свежевать и приговаривать: «Не суйся, дурак, с суконным рылом в калашный ряд чай пить! Забыл, дурак, что на то щука в море, чтобы карась не дремал! Дурак!»

Знаменитое гоголевское описание гражданской палаты, где оформлялась покупка «мертвых душ», тоже оставляло впечатление нечистоплотности. Но надо было стоять на социалистической точке зрения и быть свидетелем пореформенного роста капитала, разорительных приемов обогащения и наживы, чтобы превратить бытовую зарисовку гражданской палаты в символическую картину зловонного, кровавого торжества принципа собственности.

Общий тип жизни — хаос, развал, оскудение. Печать обреченности, мертвенной сырости легла на дворянские усадьбы. Но на развалинах вчерашнего дворянского благополучия, прямо на глазах вырастал вредный сорняк. Деруновы, стреловы и прочие «чумазые» приспосабливаются высасывать соки земли, паразитируют на теле народном.

Мотив всеобщего оскудения и разорения звучит во многих горьких щедринских пейзажах.

«Я еду, — пишет автор в очерке «Опять в дороге», — и положительно ничего не узнаю. Вот здесь, на самом этом месте, стояла сплошная стена леса; теперь по обеим сторонам дороги лежат необозримые пространства, покрытые пеньками. Помещик зря продал лес; купец зря срубил его; крестьянин зря выпустил на порубку стадо. Никому ничего не жалко; никто не заглядывает в будущее; всякий спешит сорвать все, что в данную минуту сорвать можно. И вот, давно ли началась эта вакханалия, а окрестность уже имеет обнаженный, почти безнадежный вид. Пеньки, пеньки и пеньки; кой-где тощий лозняк.

— Нехороши наши места стали, неприглядны, — говорит мой спутник, старинный житель этой местности, знающий ее, как свои пять пальцев, — покуда леса были целы — жить было можно, а теперь словно

последние времена пришли. Скоро ни гриба, ни ягоды, ни птицы — ничего не будет. Пошли сиверки, холода, бездождица: земля трескается, а пару не дает. Шутка сказать: май в половине, а из полушубков не выходим!»

Ни у кого, пожалуй, из русских художников картина весны, майского цветения, майского пиршества красок не приобретала такого мрачного колорита, не соединялась с такой тоскливой мыслью об истощении жизни, о безнадежности, как у автора «Благонамеренных речей». Подсекают корень жизни, губят природу тупое стяжательство, алчные инстинкты человекообразных хищников.

Горестен и вместе с тем грозен мотив оскудения природы и жизни под игом хищнических порядков. Звучит он в знаменитом щедринском зимнем пейзаже:

«Са́ваны, са́ваны, са́ваны! Саван лежит на полях и лугах; саван сковал реку; саваном окутан дремлющий лес; в саван спряталась русская деревня. Морозно; окрестность тихо цепенеет; несмотря на трудную, с лишком тридцативерстную станцию, обындевевшая тройка, не понуждаемая ямщиком, вскачь летит по дороге; от быстрой езды и лютого мороза захватывает дух. Пустыня, безнадежная, надрывающая сердце пустыня... Вот налетел круговой вихрь, с визгом взбуравил снежную пелену — и кажется, словно где-то застонало. Вот звякнуло вдали; порывами доносится до слуха звон колокольчика обратной тройки, то прихлынет, то отхлынет, и опять кажется, что где-то стонет. Вот залаяла у деревенской околицы лядащая собачонка, зачуяв волка,—и снова чудятся стоны, стоны, стоны... Мнится, что ветер захватывает попадающиеся по дороге случайные звуки и собирает их в один общий стон...

Саваны и стоны...» («Благонамеренные речи»)

Могильный кладбищенский дух принесли с собой разорители жизни. На какой-то миг вдруг почуялось в этом отрывке сходство с Гоголем, с его стремительным описанием несущейся вперед тройки. Вслушайтесь еще раз: «...тройка, не понуждаемая ямщиком, вскачь летит по дороге; от быстрой езды и лютого мороза захватывает дух». Но нет, это не гоголевская интонация. Зрительный образ снега — савана, мертвя-

щего холода сливается со звуковым образом стона, жалобного ропота. Создается впечатление надрывающей сердце тоски и оцепенения.

Щедринский образ стона сродни некрасовской песне-стону. Пейзажные картины словно бы вобрали в себя муки и страдания народа, жалобы и ропот самой природы, самой жизни, на которую обрушилось хищническое разорительство.

После «Истории одного города» народная жизнь наиболее полно была изображена в «Благонамеренных речах». Картины путевых очерков («В дороге», «Опять в дороге») перекликаются с ярмарочными и другими массовыми сценами из «Кому на Руси жить хорошо». Здесь, правда, не встретить нам героических фигур, подобных некрасовскому богатырю Савелию. Салтыковские мужики-протестанты угрюмы и пассивны. Свободомыслие их дальше трактирных разговоров не идет: прежде, бывало, мол, «дворяне форсу задавали», а «нынче слободно... нынче батюшка-царь всем волю дал! Нынче, коли ты хочешь сидеть — сиди! И ты сиди, и мужик сиди — всем сидеть дозволено! То есть, чтобы никому... Чтобы ни-ни... сиди, значит, и оглядывайся... Вот как царь-батюшка повелел!»

Эти смешные и грустно бестолковые речи давали понять, как невысок еще уровень сознания народа. Наивное царелюбие сочеталось в мужицкой массе с комически понимаемой «слободой».

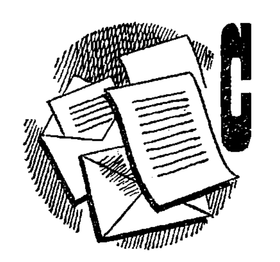
Сатирик не мог еще подозревать, какую грозную, мощную историческую силу порождал капитализм. Порождал в лице фабрично-заводской бедноты. Но вместе с тем Салтыков-Щедрин едва ли не первый в русской литературе упомянул уже о «мелкоте», на ум которой приходит затея — вырвать у разуваевых, у преуспевающих «чумазых» кус, произвести их в «пропащие люди».

Сатира Салтыкова-Щедрина улавливала чрезвычайно важные перемены в пореформенной жизни. В. И. Ленин назвал их, пользуясь щедринским образом, пробуждением человека в «коняге» [1].

---

[1] См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 1, с. 403.

В ДОМАШНЕМ КРУГУ



Салтыков-Щедрин как-то заметил: «Живость боли и непрерывное ее ощущение служили источником живых образов». Столкновение, схватка со злом в самой жизни — вот что прежде всего становилось для писателя источником художественного вдохновения.

Советские исследователи накопили немало интересных фактов, свидетельствующих о том, что некоторые мотивы, темы, образы, детали своих сатир Салтыков-Щедрин черпал из собственной семейной истории, из взаимоотношений с родными и близкими, из наблюдений над родителями, братьями и сестрами.

Переписка родственников писателя дает ценнейший материал для изучения, например, реальных источников «Господ Головлевых». Сведения из семейного архива Салтыковых убеждают в том, как широко и разносторонне использовал сатирик конкретные жизненные факты для создания образа Иудушки.

Михаил Евграфович еще в пору вятской ссылки внутренне порывает со своей семейной средой. Неугодная Ольге Михайловне женитьба сына заметно сказалась на домашних отношениях. На протяжении многих лет Салтыков-Щедрин на себе испытывает сложную и неизменно жестокую систему наказания строптивых.

Давно уже не было в живых отца, Евграфа Васильевича. Он умер в марте 1851 года. С тех пор мать, Ольга Михайловна, и прежде не знавшая пределов в управлении большими поместьями, стала и по существу, и юридически единовластной хозяйкой. Прочно, до конца дней, Михаил Евграфович отнесен был ею к числу «постылых». Сын пытался на первых порах добиться примирения, однако родственные отношения не восстанавливались.

В Тверь на вице-губернаторский пост Салтыков перевелся в 1860 году вопреки желанию Ольги Михайловны. Не хотела грозная владелица пошехонских земель иметь в лице нелюбезного сына свидетеля ее хозяйственных дел.

«Несколько раз в Твери,—говорил Салтыков-Щедрин, — бывали из Ермолина люди ее и, привозя каждый раз письма к разным подьячим, ни разу не доставили мне даже самой коротенькой записочки от нее». С немалым трудом удавалось «постылому» сыну сохранять даже тот худой мир, что сложился теперь.

Но в 1872—1874 годах отношения с матерью, со всей семьей резко ухудшились. Поводом послужила смерть младшего брата Сергея Евграфовича. Началась длительная и запутанная судебная тяжба о наследстве.

Дело в том, что оставшееся после умершего Сергея имение нужно было разделить между вдовой и братьями. Михаил Евграфович, на правах совладельца, рассчитывал получить свою долю. Литературный заработок его был невелик, а приобретенное им подмосковное имение Витинево дохода не приносило. Однако старший брат Дмитрий, подговорив вдову умершего и ее мать, принялся не без корыстного расчета чинить препятствия. Поддержал его и Илья Евграфович. Между братьями возник судебный процесс, искренне возмущавший писателя.

В разгоревшихся спорах о наследстве самую неприглядную роль сыграл старший брат Дмитрий, настраивавший родственников, и в первую очередь мать, против Михаила Евграфовича. «Помогите,— пишет Салтыков в 1872 году юристу Е. И. Якушкину,— хоть ради того, что просто меня терзает мать-кредиторша, и я желал бы хоть как-нибудь освободиться от нее».

В свое время, в декабре 1861 года, расчетливая Ольга Михайловна дала ему в долг для приобретения имения деньги. Ежегодно сын вынужден был выплачивать ей немалую сумму. Именно этот долг, на скорейшей выплате которого мать стала решительно настаивать, используя не столько родственные, сколько официальные, судебные каналы, вынудил писателя в 1864 году снова взяться за чиновничью лямку.

«Злым демоном», способным «вызуживать» людей, называет Михаил Евграфович своего старшего брата.

«...Злой дух, обитающий в Дмитрии Евграфовиче, неутомим и, вероятно, отравит остаток моей жизни», — заключает он в более позднем письме, адресованном Ольге Михайловне.

Еще позднее, 22 апреля 1873 года, он пишет, что у брата «одна система: делать мелкие пакости». Мало того, Салтыков здесь же довольно подробно живописует самый механизм, производящий эти пакости и наводящий на окружающих уныние и тоску. Вот строки, в которых исподволь проглядывают уже контуры будущего сатирического образа Иудушки. Полагая, что самое лучшее и даже единственное средство не ссориться с Дмитрием Евграфовичем — это совсем его не видеть, Салтыков заявляет: «...этот человек не может говорить резонно, а руководится только одною наклонностью к кляузам. Всякое дело, которое можно было бы в двух словах разрешить, он как бы нарочно старается расплодить до бесконечности. Я положительно слишком болезнен, чтобы выносить это. Не один я — все знают, что связываться с ним несносно, и все избегают его. Ужели, наконец, не противно это лицемерие, эта вечная маска, надевши которую этот человек одною рукою богу молится, а другою делает всякие кляузы?»

Все последующие упоминания о Дмитрии Евграфовиче в щедринских письмах выразительно дополняют портрет этого лицемера и демагога. Так, летом 1873 года он решает уклониться от прямых хозяйственных переговоров и устраивает, по выражению сатирика, очередную комедию. Вместо откровенного, с глазу на глаз, объяснения с родственниками Дмитрий Евграфович решает прислать свои соображения в форме письма к «милому другу маменьке», предварительно сняв с этого письма копии для братьев. «Ну не досадно ли видеть этого празднолюбца, который свои письма (на целом листе) пишет в трех экземплярах?» — замечает Салтыков брату Илье, обращая внимание на то, что писания Дмитрия вопреки их великодушному тону полны «иезуитских оговорок».

Вся эта изнуряющая долгая тяжба причиняла сатирику беспрерывное нравственное беспокойство. «Дело о наследстве, — пишет он в октябре 1873 года Ольге Михайловне, — совершенно отбило меня от работы». Но это было не совсем так. Кроме очередных, ежедневных редакционных дел, в сознании художника шла большая внутренняя работа. Воображение рисовало ему семью, братьев, их детей, родственные узы которых взаимно уничтожались и прямо на глазах лишались всякого смысла.

Еще в 1863 году в журнале «Современник» Салтыков-Щедрин напечатал очерк «Семейное счастье». Позже, в 1876 году, он включил этот очерк в сатирический цикл «Благонамеренные речи». Затем эта тема в творчестве писателя приобрела художественную самостоятельность. В «Семейном счастье», в картине домашних отношений помещицы Марьи Петровны Воловитиновой с ее тремя сыновьями, уже слышны салтыковские фамильные отзвуки, которые стали еще более заметны в «Господах Головлевых».

Марья Петровна была женщиной деятельной, крутой и любила, чтоб дело у нее в руках горело. Сеничка, напротив того, «любил всякое дело обсудить, то есть не столько обсудить, сколько наговорить по поводу его с три короба всякого рода предварительных пошлостей». Сеничка шагу не мог ступить, чтоб не произнести: «вы, милая маменька», или «вы, добрый друг, моя дорогая маменька». Оно вроде бы и почтительно, но уж чересчур приторно и неестественно.

«Как начнет он это разводить да размазывать, да душу из меня выматывать, как начнет это свои слюни распускать, — говорила Марья Петровна по этому случаю, — так, поверите ли, родная моя, я даже света не взвижу; так бы, кажется, изодрала ему рот-то его поганый, чтоб он кашу-то эту из себя скорей выблевал!»

Когда Марья Петровна ела, то совсем не жевала, а проглатывала пищу, как щука. Сеничка же, напротив того, любил всякий кусок «рассмотреть, разжевать, просмаковать, посыпать разговорцем и, к довершению всего, разрезывал кушанье на меленькие кусочки, а с огурца непременно срезывал кожу». Когда им случалось обедать вдвоем, то у Марьи Петровны всегда

до того раскипалось сердце, что она, как ужаленная, выскакивала из-за стола и, не говоря ни слова, выбегала из комнаты, а Сеничка следовал за ней и все приставал: «Кажется, я, добрый друг маменька, ничем вас не огорчил?»

Однажды они чуть было насмерть не перессорились друг с другом... из-за бани.

«— У меня есть до вас, милая маменька, большая просьба! — приступил Сеничка, по своему обыкновению, с предисловия.

— Говори, мой друг!

— Вы меня извините, добрый друг маменька, я только что приехал и решаюсь уже вас беспокоить...

— Говори, мой друг!

— Но обстоятельство такого рода, что я, зная ваше доброе ко мне расположение и как вы всегда были снисходительны ко всем моим нуждам...

— Да говори же, дурак!

— Я, право, не знаю, дорогая маменька, чем я мог заслужить ваш гнев...

— Долго ли ты меня притеснять будешь? долго ли тебе мной командовать?

— Я, милая маменька...

Но Марья Петровна уже вскочила и выбежала из комнаты. Сеничка побрел к себе, уныло размышляя по дороге, за что его наказал бог, что он ни под каким видом на маменьку потрафить не может. Однако Марья Петровна скоро обдумалась и послала девку Палашку спросить «у этого, прости господи, черта», чего ему нужно. Палашка воротилась и доложила, что Семен Иваныч в баньку желают сходить.

— На-тко! — сказала Марья Петровна и показала при этом Палашке указательный палец правой руки, — на дворе сенокос, люди в поле, а он в баньку выдумал! Поди, доложи, что некому сегодня топить.

Однако через несколько минут Марья Петровна опять обдумалась, велела затопить баню и послала за Сеничкой.

— Ну, ступай в баню, мой друг, — сказала она кротко.

— Но если это затрудняет вас в ваших распоряжениях, милый друг маменька...

— Ступай в баню, мой друг, — опять повторила Марья Петровна и, чтоб не увлекаться, занялась раскладыванием гран-пасьянса.

— Если все люди в поле, дорогая маменька...

Марья Петровна не отвечала, но судорожно повертываясь на стуле, думала: «Неужели это *я* такого дурака родила?»

— Я не знаю, милая маменька, что̀ я такое сделал, чем я мог вас огорчить?

Молчание...

— Я благонравием своим заслужил любовь всех моих начальников, ныне назначен уже вице-директором и льщу себя надеждою, что карьера моя далеко не кончена.

То же молчание, нарушаемое только шлепаньем карт.

— Во всех семействах первородные сыновья...

— Уйдешь ли ты в баню, мерзавец! — крикнула, наконец, Марья Петровна, но таким голосом, что Сеничке стало страшно».

В этой сцене, как и во всем рассказе «Семейное счастье» нет точного воспроизведения тех реальных отношений, которые существовали в семье Салтыковых. Натяжкой было бы отождествлять Марью Петровну Воловитинову с Ольгой Михайловной, а Сеничку, скажем, с Дмитрием Евграфовичем. Как и всякому истинному художнику, Салтыкову-Щедрину претило механическое перенесение характерных свойств, манер, речей какого-то лица из реальной жизни на страницы сатир. Художественному смыслу сатиры грозило в противном случае притупление и ослабление. Сатира превратилась бы в разоблачение пороков отдельного лица. Творчески переосмысляя реальные факты, связывая их друг с другом и находя им объяснение, писатель достигал больших глубин обобщения, избегая упреков в фельетонности. И вместе с тем действительные факты, личные жизненные наблюдения, автобиографические сюжеты и мотивы нередко служили источником сатирических зарисовок и образов. «Семейное счастье» тому пример. В образе Сенички проглядывают кляузность и страсть к многоговоренью старшего брата Дмитрия. В Сеничке же намечаются такие свойства и

стороны характера, которые во всей их законченности и силе расцветут в Иудушке.

«Иудушкой, — записывала в своих воспоминаниях А. Я. Панаева, — он звал одного своего родственника и через несколько лет воспроизвел его в «Головлевых». Конечно же, это признание современницы писателя не следует воспринимать буквально. Именно потому стал Иудушка художественным типом огромного масштаба, что создан был он могучей фантазией сатирика, переплавившего в своем сознании многие реальные факты, многие характеры, встречавшиеся писателю в жизни. Но ясно и то, что среди прототипов Иудушки старший брат Салтыкова-Щедрина занимает одно из первых мест.

Особым смыслом наполняется обещание сатирика, содержащееся в его письме к матери от 20 ноября 1873 года: «Дмитрий Евграфович может быть уверен, что я попомню ему это». «Это» — бесконечные иезуитские кляузы, беспрерывное лицемерие, сопровождаемое медоточивыми речами. Старший брат Салтыкова-Щедрина во всей округе выделялся жадностью, интриганством и крючкотворством. Он постоянно судился то с соседями, то с крестьянами, ограбленными им при реформе. Теперь же эти свойства свои он проявил в отношении к брату, не переставая в то же самое время говорить о братской любви и христианском всепрощении. «Попомню ему это», — грозился Салтыков-Щедрин, сильнее всего в жизни ненавидевший лицемерие.

Процесс с братьями продолжался больше двух лет. Неоднократные поездки сатирика, связанные с разделом наследства, сопровождавшие все это волнения значительно ухудшили здоровье Михаила Евграфовича. 12 января 1874 года он писал одному из сотрудников «Отечественных записок» талантливому публицисту А. Н. Энгельгардту: «Я должен вам сказать, что я очень сильно болен. У меня порок сердца и кашель затяжной. Иногда думается, что даже хорошо было бы сдохнуть. Всякая малость волнует меня, а при пороке сердца такая нервность никуда не годится».

3 декабря 1874 года Ольга Михайловна умерла. Салтыков отправился на похороны матери. В эту лютую зиму в пути он сильно простудился. Вскоре у него

открылся сильный ревматизм суставов, давший осложнение на сердце. Лечивший его доктор Н. А. Белоголовый считал, что сильнейшая простуда во время этой поездки и стала причиной изнурительной болезни, которая до конца дней не покидала писателя.

Ссора с братьями и смерть Ольги Михайловны оборвали последние нити, связывавшие Салтыкова с краем его детства, с краем, оставившим заметный след в его жизни и творчестве.

В Твери и в Тверской губернии не стало родственников, к которым бы он хоть в малой степени был привязан. Друзья покинули старые пошехонские гнезда. Лишь изредка продолжал сатирик бывать у своего старого приятеля А. М. Унковского в его имении под Тверью. «Приезжал иногда летом Салтыков к нам в деревню в Тверской губернии,— вспоминает дочь Унковского, — его привозили в огромной закрытой четырехместной карете; здесь он бывал обыкновенно в хорошем расположении духа, даже лицо его имело совсем другое выражение, он часто улыбался, острил, гулял в липовой аллее сада с отцом, играл в «дурачка», писал в кабинете отца».

Между тем в доме писателя произошли радостные события. 1 февраля 1872 года у него родился сын Костя, а 28 января 1873 года — дочь Лиза. На какое-то время с его лица сходит обычная угрюмость. Счастьем и добротой светятся его глаза, когда заходит разговор о детях. Появляются и новые заботы. Особый смысл приобретает и семейный конфликт по поводу дележа наследства. Мысль о будущем детей, об их обеспеченности не покидает Салтыкова. Теперь уже дело не только в нем и в жене. Нужно вырастить, воспитать маленьких Костю и Лизу. «Я, по крайней мере, настолько люблю детей своих, — сообщал он матери, — чтоб предусматривать и будущее».

Болезнь детей страшно его беспокоит. Не совсем здоров Костя. Он медленно учится ходить. А маленькой Лизе привили оспу, и она очень страдает. Страдания и боль детей живо передавались отцу, производили в доме ужасный переполох.

Дети росли, и увеличивались связанные с ними заботы и хлопоты. Крепла отцовская привязанность к ним. Вот выезжают они с матерью за границу, и из

Петербурга в курортные западные городки Баден-Баден и Висбаден идут письма на имя Константина и Елизаветы Салтыковых, письма, полные ласки и теплоты. Отец с нетерпением ждет от них вестей.

В трогательных и нежных строках писем Михаил Евграфович сообщает детям о судьбе любимых его малышами кукол, о разной домашней живности, которую он любил не меньше Кости и Лизы. «Доношу вам,— пишет он в мае 1880 года,— что без вас скучно и пусто. Когда вы были тут, то бегали и прятались в моей комнате, а теперь такая тишина, что страшно. И еще доношу, что куклы ваши здоровы и в целости. Им также скучно, что никто их не ломает». Но отец не только смешит их и жалуется на тоску: «Будьте умники и учитесь. Пишите ко мне, чтó вздумается, но непременно пишите. Я буду прятать ваши письма, и, когда вы будете большие, мы станем вместе их перечитывать».

Тон писем Салтыкова-Щедрина к Косте и Лизе примечателен тем, что не оставляет места для слащавого сюсюканья. Он говорит с ними как с добрыми и милыми его сердцу маленькими друзьями, которые могут понять его горести и печали, вызванные разлукой с ними: «Дела наши в том же положении. Куколка лежит в кроватке и почивает; Арапка летает совсем как большой; Бепка обходится с ним как с товарищем... А я все кашляю, и все на старый манер, даже нового ничего выдумать не могу. И скучно мне очень, что не слышу больше вашего детского милого шума».

Пишет он обо всех интересующих детей домашних новостях, о Бепке и о Крылатке, который стал «желтеньким, с серым хохолком и серыми крылышками», о Лизиной кукле, которая «все почивает; никак разбудить нельзя». И здесь же не забывает спросить: «Костя! перестал ли ты вертеться? Смотри, приеду, увижу». Отец советует Косте научиться лучше писать и брать пример с младшей Лизы: «Буквы у тебя выходят пузатенькие, с ножками и рожками... Лиза гораздо приятнее пишет, и надо ее догонять. Очень я рад, голубчики, что вам хорошо живется. Гуляйте и пользуйтесь случаем, чтоб по-немецки научиться... А мне здесь очень скучно; целые дни на своем месте сижу и все молчу или кашляю».

В 1883 году Михаил Евграфович определяет Константина в гимназию, а Лизу — в пансион и внимательно следит за их первыми успехами, искренне огорчаясь их неудачам. Его мучительно заботит будущее детей, дело, которым они займутся, работа, которой посвятят жизнь, их отношение к матери.

«...Люби мать и береги ее, — завещает он сыну, — внушай то же и сестре. Помни, что ежели вы не сбережете ее, то вся семья распадется, потому что до совершеннолетия вашего еще очень-очень далеко. Старайся хорошо учиться и будь безусловно честен в жизни».

В письме к близкому своему знакомому и соратнику по «Отечественным запискам» Г. З. Елисееву Салтыков с грустью признавался, что дети его могут быть несчастливы. И видел он истоки их будущих несчастий в том, что нет у них «никакой поэзии в сердцах; никаких радужных воспоминаний, никаких сладких слез; ничего, кроме балаганов».

Удивительно ласков был Салтыков-Щедрин с животными и старался привить эту любовь детям. Дочь Унковского припоминала, что в деревне у них всегда было много собак — гончих и «водолазов»: «Обед наш происходил обыкновенно в липовой аллее, а после обеда Михаил Евграфович нес каждый раз на тарелке остатки от обеда и угощал свою любимую собаку».

Своих детей ему хотелось видеть отзывчивыми и внимательными к ближним, добрыми к любой живой твари, умеющими радоваться и удивляться жизни. Салтыкова особенно беспокоил сын. Плохо стал учиться в Лицее, куда по желанию матери он был переведен из гимназии. Все вечера проводит в компании приятелей. Тратит много денег. Дочь огорчала его меньше. «Посмотри, — внушал он Косте, — Лиза ведь находит же время готовить уроки и не приносит таких скверных баллов, как ты».

Трудными оказались отношения Салтыкова-Щедрина с родителями жены. Служа в провинции, он иногда наезжал с Елизаветой Аполлоновной в Петербург и останавливался в доме Болтиных, переселившихся к тому времени в северную столицу. Аполлон Петрович получил место в военном министерстве и превратился в тихого, кроткого семьянина. Его жена, Екатерина

Ивановна, и дочери приписывали эти его свойства увлечению спиритизмом. В столичном «свете» в те годы стала модной мистическая вера в загробную жизнь, в духов умерших, с которыми, считалось, можно общаться. В обществе петербургских спиритов Аполлон Петрович занял видное место. Своими спиритическими сеансами он увлек дочь Анну.

Иронически относился сатирик к Анне и ее отцу, увлеченным общением с духами. Когда слышались в передней шаги Аполлона Петровича, возвращавшегося с очередных сеансов, Салтыков-Щедрин с нескрываемым раздражением говорил жене: «Опять этот Аполлон, черт его побери! будет вызывать своих глупых духов. Ты у меня, Лиза, не смей!»

Елизавета Аполлоновна, неизменно сопровождавшая мужа во всех его провинциальных скитаниях и переездах, всегда готова была оказать ему посильную помощь в работе, терпеливо занималась перепиской его рукописей, которые должны были в срок поспеть в типографию. Дело это было не из легких, так как почерк сатирика часто становился очень непонятным и неразборчивым.

Однако полного и глубокого взаимопонимания между ними так и не возникло, хотя до последних своих дней Салтыков-Щедрин, сам часто раздраженно отзывавшийся на поступки и речи жены, никому ни единым словом или намеком не позволял хоть как-то обидеть Елизавету Аполлоновну. По словам сына Унковского, Михаила Алексеевича, «для людей, хорошо знавших трудную семейную жизнь Салтыковых, несомненно было... что Михаил Евграфович горячо любил жену в течение всей своей жизни... Ежедневно раздражаясь каждым шагом и словом жены, Салтыков в то же время не мог прожить без нее даже двух-трех дней, не начав испытывать грызущую по ней тоску».

Салтыковы с 1876 года нанимали квартиру в центре Петербурга, на Литейном проспекте в доме № 62. Вот как описывает их квартиру часто бывавшая у них и дружившая с младшей Лизой дочь Унковского: «...небольшая прихожая, налево кабинет Михаила Евграфовича с большим письменным столом и зеленой мебелью, прямо — столовая, мрачная комната с одним окном во двор, из столовой одна дверь налево вела

в. гостиную — большую комнату с мебелью, обитой синим шелком, а другая дверь направо — в узкий длинный коридор, с левой стороны которого тянулась стена, а с правой были двери в спальню Салтыковых и в две детские...»

Здесь бывали наиболее близкие писателю люди. Часто навещал Салтыкова Алексей Михайлович Унковский, бывший тверской предводитель дворянства, с которым сатирик был знаком еще с Лицея. Адвокат по профессии, А. М. Унковский, критическими суждениями которого Салтыков-Щедрин дорожил, стал для писателя ценным источником пестрых жизненных фактов. Принципиальный и бескорыстный, Унковский был дорог ему и своими моральными качествами. «Он, бедный, — писал об Унковском в 1885 году Салтыков-Щедрин, — работает без устали, но, по обыкновению, скромен и живет с хлеба на квас». Примечательно, что В. И. Ленин упомянул однажды имя А. М. Унковского, вслед за Герценом и Чернышевским, в ряду передовых людей России [1].

Бывали дома у Салтыковых и дети Унковского. С особой лаской встречал писатель дочь Алексея Михайловича Софью. «Ко мне Салтыков относился удивительно нежно, — вспоминала она впоследствии, — я чувствовала, что меня он любил, и часто говорил моему отцу: «А Сонька ваша будет умная». Я этой похвалой особенно гордилась... Я его тоже любила, но вместе с тем он своей строгостью внушал страх».

Частым гостем писателя был и известный профессор-медик С. П. Боткин. Кстати, и сам Салтыков-Щедрин с Елизаветой Аполлоновной нередко бывали у Боткиных, присутствовали на их музыкальных вечерах, где выступали знаменитые русские пианисты, скрипачи и виолончелисты и среди них А. Г. Рубинштейн.

Иногда по вечерам сатирика навещал цензор Н. А. Ратынский, товарищ по Московскому дворянскому институту, информировавший обычно о последних новостях в цензурном комитете.

Бо́льшую же часть времени Салтыков-Щедрин проводил в редакции «Отечественных записок», где ви-

---

[1] См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 5, с. 61.

делся со всеми своими товарищами по литературе, по журнальному делу.

Ничто, ни единый мало-мальски примечательный факт, ни одна более или менее определенная личность не проходили мимо писателя бесследно, не внося вклада в его творчество. В пору мучительных болезней художник горячее прежнего впитывает окружающие впечатления. С самой неожиданной стороны мог пригодиться ему каждый из сравнительно невеликого круга знакомых. Сын Салтыкова-Щедрина вспоминал, как писатель не без удовольствия вел разговоры со старым князем Абашидзе, по живым следам воспроизводя его манеру говорить у своих восточных «человэков». Даже лакей, долгое время снабжавший писателя папиросами, а затем открывший собственную табачную лавку, чем-то припомнился, должно быть, когда он образно воспроизводил хищническую историю жизни Колупаевых и Разуваевых. Много полезного почерпнул Салтыков-Щедрин и из общения с графом Лорис-Меликовым, бывшим в курсе многих придворных махинаций, из первых рук узнававшим обо всех реакционных начинаниях правительственных верхов.

Сатирик нашел много любопытных способов приобретения нового литературного материала. Ни беседа с давнишним приятелем, ни именины кого-то из знакомых, ни игра за карточным столом не проходили бесследно. Так, по пятницам можно было встретить писателя в доме Унковских. Посещал этот дом и бывший петрашевец А. И. Европеус. Приговоренный в свое время царем к расстрелу, он был помилован и определен в солдаты на Кавказ. По возвращении он, как заметили современники, воздерживался от всякой «книжной» деятельности. На квартире у него не осталось ни одной книги, не единого листика белой бумаги, ни одного пера.

Рассказывали, что, когда к Европеусу, как к старому злоумышленнику, явились с обыском жандармы, они очень удивились, не найдя в кабинете на столе ничего, кроме закуски. Закуску эту Европеус пожелал любезно разделить с ними.

Салтыков-Щедрин слышал эту удивительную историю. В 1869 году он воспользовался некоторыми ее деталями в очерке «Они же», вошедшем в цикл «Гос-

пода ташкентцы». По цензурным причинам очерк этот увидел свет много позже, в 1881 году. Повествование в нем идет от имени одного из ташкентцев-усмирителей, участвующих в походе против неблагонадежных. Ташкентцы врываются в квартиры подозреваемых и учиняют там обыски, допросы и погромы, свирепо уничтожая книги и пугая обывателей.

Вот некто «он». Очередь и до него дошла. «Сделавши несколько сильных ударов звонком, мы долго ждали на площадке, прислушиваясь, как за дверью возились и ходили взад и вперед. Возне этой, казалось, не будет конца.

— Да куда же, однако, девались мои носки?— долетал до нас «его» голос.

Наконец носки были отысканы и дверь отперта. «Он» узнал нас сразу, и не только не показал никакого изумления, но даже принял гостей с некоторою развязностию...

— Ба! Гости!— сказал он довольно весело,— да уж нет ли тут старых знакомых? нет? Ну, и с новыми познакомимся!..

На столе, в кабинете, стояли неубранные остатки довольно обильной закуски: ветчина, сыр, балык, куски холодного пирога... Несколько початых бутылок вина и наполовину выпитый графин с водкой довершали картину.

— Господа! не угодно ли?— сказал «он», указывая на закуски,— от меня, с час тому назад, ушли приятели, так вот кстати и закуска осталась. А я покамест оденусь: ведь мне придется сопровождать вас? или, лучше, вам придется сопровождать меня — так?

— Точно так-с!— отвечал я, увлеченный его добродушием, и вместе с тем не мог не подумать:— если бы все они были таковы! Гостеприимен, ласков, словоохотлив!»

Сцена заканчивается остроумным диалогом, в течение которого стороны вот-вот готовы поменяться ролями: «Затем, когда мы закусили и выпили, «он» сам нам показал все. В целой квартире не было ни одной книги, ни одного клочка бумаги, так что я даже изумился.

— Вас изумляет отсутствие книг и бумаг?— поспешил «он» объяснить, заметив на моем лице недоволь-

ное движение.— Но поймите же, наконец, что, начиная с сорок восьмого года, я периодически подвергаюсь точно таким посещениям, как в настоящую минуту. Кажется, этого достаточно, чтобы получить некоторую опытность...

— Вы не сердитесь, пожалуйста, Павел Иванович (так «его» звали),— сказал я,— но я считаю долгом вам выразить, что давно не проводил так приятно время, как в вашем милом, образованном семействе.

— За что же тут сердиться?

— Да-с! Но за всем тем... моя обязанность... мой, если можно так выразиться, священный долг...

— Повелевает вам пригласить меня с собою? Что ж, ведь я с первого же раза сказал вам, что на всяком месте и во всякое время готов!

— Да-с; но могу вас уверить, что с своей стороны... все, что зависит.

— Ну, от таких курицыных детей, как вы, тут, пожалуй, ровно ничего зависеть не может... Однако, довольно разговаривать: идем!»

Заключительное «идем!» произносит уже не ташкентец, а сам обыскиваемый.

Наблюдательные современники писателя обратили внимание на то, что у Салтыкова-Щедрина проявлялась порой любопытная манера защищать и отстаивать такие взгляды, которые сам он явно не разделял. С серьезным видом, горячась и наступая, он часто говорил совсем не то, в чем был глубоко убежден. Когда же сатирика спрашивали о причине таких «самопротиворечий», он, усмехаясь, отвечал:

— Да ведь скучно же, когда люди сойдутся и поддакивают друг другу! Что хорошего, если я буду изрекать, а он «дакать» или наоборот! И вам, юноша, советую почаще проверять себя таким способом: услышите иногда такие выражения, до которых сами бы ни за что не додумались. Особенно полезно спорить с единомышленниками, став на противуположную точку зрения.

Салтыков-Щедрин и книги призывал не просто «проглатывать», уподобляясь чичиковскому Петрушке, но размышлять над книгами, внутренне спорить с их авторами: «Когда принимаетесь за книгу, тотчас же задайтесь мыслью, что в ней все наврано, и старайтесь

не соглашаться, спорьте с книгой. Без этого непременно попугаями будете, все равно какого цвета, белого, или красного, или серого!»

Многие из тех, кто впервые видел и слышал сатирика, пугались его суровости, его грубоватой речи с крепко посоленным мужицким словцом. Детские годы в деревне, а затем длительное общение с крестьянами в пору служебных дел наложили неизгладимый отпечаток на его манеру говорить, убеждать, спорить. Народные обороты, чисто крестьянские выражения, почти неизменно ироническую интонацию, грудной и зычный голос Салтыкова-Щедрина нелегко было спутать с кем-либо другим. «Я — мужик», — часто повторял он о себе, когда ему предстояло иметь дело по какому-либо поводу со светскими людьми.

В доме Унковских, где бывал сатирик, обычно собиралось много народу. Здесь встречались Некрасов, Плещеев, поэт Жемчужников, Елисеев, Боткин, актер-комик Горбунов, художник Ге. Случалось бывать у Унковского Тургеневу, Григоровичу, Достоевскому. Салтыков-Щедрин нередко читал свои новые сатирические очерки или, когда ему сильно мешал одолевавший его кашель, просил почитать кого-нибудь из знакомых. Не любил он только пустопорожних и высокопарных разглагольствований вчерашних либералов. Раздражали его и их сытые адреса и приветствия, которыми они одаривали писателя, когда тот, прикованный болезнью к своему креслу у письменного стола, не выезжал из дому. Салтыков-Щедрин отвечал им неизменно колко и язвительно.

Раз как-то, в восьмидесятые уже годы, просвещенные москвичи, собравшиеся на очередной ежемесячный коллективный обед, вспомнили о больном писателе и поручили одному из его знакомых, сотруднику «Отечественных записок» по финансовым вопросам А. А. Головачеву, бывшему не в ладах с русским языком, отредактировать обращение к сатирику. Депеша за подписью Головачева начиналась словами: «Ежемесячно обедающие шлют тебе привет...» и т. д. Вскоре от писателя был получен ответ: «Благодарю тебя и всех ежемесячно обедающих. Ежедневно обедающий Салтыков».

Теплые дружеские отношения связывали сурового писателя с его соредактором по «Отечественным запис-

кам» Н. А. Некрасовым. Их сближало многое: общие творческие установки, журнальное дело, непрекращавшиеся схватки с цензурным ведомством. «Ваша болезнь, Многоуважаемый Николай Алексеевич, производит на меня едва ли не более тяжелое впечатление, нежели моя собственная»,— писал Салтыков-Щедрин в июле 1876 года. В его письмах этой поры очень часто проглядывает серьезное беспокойство по поводу здоровья Некрасова. «Похудел и осунулся Некрасов так, что глядеть на него страшно»,— сообщает сатирик в августе. Письма, полные поддержки и надежд на исцеление поэта, Михаил Евграфович шлет Некрасову в Крым: «Надеюсь, что в Крыму не такая скверная погода, как здесь, и крепко уповаю, что хороший воздух и тепло помогут Вам. Без Вас и скучно и совсем както неловко». Некрасов, почувствовав некоторое улучшение здоровья, написал об этом в Петербург. Салтыков-Щедрин моментально и с радостью откликнулся: «Письмо Ваше, где Вы пишете, что Вам получше, поистине облегчило и меня и всех, составляющих наш кружок».

Кружок — это прежде всего сотрудники и друзья их общего детища, «Отечественных записок». «Болезнь Ваша,— продолжает сатирик в том же письме Некрасову от 13 октября 1876 года,— тревожит и мучит меня лично совершенно так же, как и моя собственная. Тоскливо, тревожно, ничего делать не хочется». И вслед за этими признаниями следуют строки с какой-то горькой грустью воспевающие самоотверженный литературный подвиг Некрасова, самого Салтыкова-Щедрина и других непокорных.

«Условия деятельности так сложились, что она возможна только в м е с т е, а без деятельности и жизнь имеет мало смысла. Мы до того отождествились с нашей специальностью, литературным трудом, что сделались вне ее почти негодными для существования. В этом отношении наша жизнь может быть названа даже проклятою. У меня не раз бывали порывы выбиться из нее, но я убежден, что, как только настала бы минута освобождения, так тотчас бы убедился, что мне ничего больше не остается, как слоняться из угла в угол без дела». В этих словах гордость русского писателя за свой честный и нелегкий труд, возможный

«только вместе», только в журнальном союзе с близкими по духу и направлению художниками и публицистами.

Некрасов между тем угасал. Из Крыма он вернулся в Петербург в безнадежном состоянии. Цензура и здесь не оставила его в покое. Из «Отечественных записок» по настоянию властей был вырезан некрасовский «Пир на весь мир» — одна из лучших частей его поэмы «Кому на Руси жить хорошо». «Этот человек, повитый и воспитанный цензурой,— писал Салтыков-Щедрин П. В. Анненкову,— задумал и умереть под игом ее... А поэма замечательная...» Тут же, имея в виду Некрасова, сатирик добавлял: «Замечательна жизнь этого человека».

27 декабря 1877 года Некрасова не стало. Основная тяжесть редакторской работы легла на плечи Салтыкова-Щедрина. Часто припоминались сатирику добрые строки, адресованные ему Некрасовым, казалось, совсем еще недавно. В 1875 году, вскоре после отъезда Салтыкова-Щедрина из Петербурга за границу для лечения, Некрасов писал П. В. Анненкову:

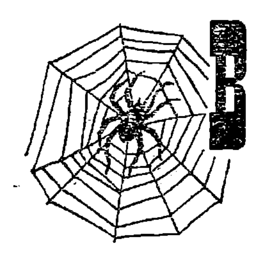
«Журнальное дело у нас всегда было трудно, а теперь оно жестоко. Салтыков нес его не только мужественно, но и доблестно, и мы тянулись за ним, как могли. Не говорю уже о том, что я хорошо его узнал и привязался к нему...»

А дальше шли строки стихов, посвященные Салтыкову-Щедрину:

О нашей родине унылой
В чужом краю не позабудь
И возвратись, собравшись с силой,
На оный путь — журнальный путь.
На путь, где шагу мы не ступим
Без сделок с совестью своей,
Но где мы снисхожденье купим
Трудом — у мыслящих людей.
Трудом и бескорыстной целью.
Да, будем лучше рисковать,
Чем безопасному безделью
Остаток жизни отдавать.

Истинным и всегда желанным для него домом была редакция «Отечественных записок». Вне литературы он не мыслил жизни.

КОНЕЦ ГОЛОВЛЕВСКОГО СЕМЕЙСТВА



Все созданные Салтыковым сатирические циклы, от «Губернских очерков» до «Круглого года», в 1879—1881 годах вышли повторно. Обилие переизданий за такой короткий срок необычайно. Вызывалось оно прежде всего огромной популярностью писателя. Появилось стремление подытожить свой творческий путь и у самого сатирика.

Именно в эту пору Салтыков задумывает из серии «Благонамеренные речи» выделить так называемые головлевские очерки, которые сразу же обратили на себя внимание. С похвалой отозвались о них Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, литературный критик П. В. Анненков.

Салтыков решает продолжить начатую тему. В особом рассказе он думает изобразить «конец головлевского семейства».

Мысль выделить хронику Головлевых в самостоятельный роман вполне созревает еще весной 1876 года. В течение года появляются в печати четыре новые главы. И только в майской книжке «Отечественных записок» за 1880 год Салтыков помещает «Последний эпизод из Головлевской хроники», а в июле того же года впервые целиком издает «Господ Головлевых».

Роман-хроника как-то естественно отпочковался от цикла «Благонамеренные речи». Больные вопросы современности воздействовали на его идейное и художественное оформление.

В преддверии новой революционной ситуации 1879—1881 годов Салтыков-Щедрин различал резкие очертания «переворотившейся» России. Поездки за границу расширили круг его наблюдений. Охват жизни в очерках заметно расширился.

Злободневность замысла «Господ Головлевых» можно по достоинству оценить, если вспомнить, как активно обсуждалась в это время проблема семьи в газетных статьях, научных трактатах, в художественной литературе и официальных документах.

Со страниц благонамеренной печати не сходили такие напыщенные высокопарные заявления, как: «Сила и крепость государства находятся в прямой зависимости от силы и крепости семейного союза в стране».

Проблема семьи занимала крупных художников России. Над драматической судьбой семейственных уз размышлял автор «Анны Карениной» и «Воскресенья». В «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевский рисовал картину духовного и физического распада дворянской семьи. По мысли писателя, семейное начало под влиянием нигилизма и безбожия подверглось временной порче. Как принцип же, как основа, на которой прочно стоит государство, святыня семьи нисколько не пошатнулась.

Создатель «Господ Головлевых» убеждений Достоевского не разделял. Салтыков-Щедрин решил показать, как унаследованные от крепостнических времен, закрепленные в целом ряде поколений праздность, непригодность к какому-нибудь делу, безудержное стремление урвать для себя кусок пожирнее точат семью, раздирают ее в клочья.

Сатирик ставит перед собой сложную задачу: художественно раскрыть внутренний механизм разрушения семьи. От главы к главе он прослеживает трагический выход из семьи и из жизни представителей головлевской фамилии. Но наиболее полно процесс гибели помещичьей семьи обобщен в образе Порфирия Головлева. Не случайно Салтыков-Щедрин счел необходимым в самом начале второй главы заметить: «Семейная твердыня, воздвигнутая неутомимыми руками Арины Петровны, рухнула, но рухнула до того незаметно, что она, сама не понимая, ка́к это случилось, сделалась соучастницей и даже явным двигателем этого разрушения, настоящею душою которого был, разумеется, Порфишка-кровопивец».

Писатель сосредоточивается на анализе внутреннего мира «гангренозной» психологии своего героя-пу-

стослова, прозванного Иудушкой. Лицемерные лгуны «забрасывают вас,— пишет Салтыков,— всевозможными «краеугольными камнями», загромождают вашу мысль всякими «основами» и тут же, на ваших глазах, на камни паскудят и на основы плюют».

В пустословии уличены все Головлевы. Иудушке оно целиком заменяет то, что именуют духовным миром человека. Он злой гений пустословия. Но он же и жертва его, ибо оно опустошило его душу, выскоблило в нем человеческое.

Само прозвище Иудушка, а не Иуда, сразу как-то житейски приземляет героя, переносит его в область будничных делишек, обыкновенного существования.

Порфирий — это именно Иудушка, где-то здесь, рядом, под боком у домашних совершающий каждодневное предательство. Словесную паутину Иудушка плетет в семье, за чайком и обедом, в повседневном общении с родными, дворней, мужиками, соседями по имению.

Салтыкова-Щедрина, конечно, не случайно интересуют помещики Головлевы, господа Головлевы. Помещичья среда как раз и доставляет, по мысли сатирика, питательный материал для превращения человека в Иудушку. Писатель воссоздает самую атмосферу, в которой живет и дышит его герой.

Первый признак, заявляет сатирик, по которому мы сознаем себя живущими в обществе,— живое слово, живая человеческая речь. И надо честно обращаться со словом. Между тем слово может не только не сплачивать, но, напротив, может разобщать людей, тиранически истязая их. Слово может быть обманным, мертворожденным, пустым.

Уже с первых страниц хроники мы знакомимся с Порфирием Головлевым как пустословом. Выразительный штрих — упоминание об откровенном мальчике, с детства умевшем приласкаться и слегка понаушничать. И дальше, шаг за шагом, наше внимание приковывает Иудушка — самый речистый персонаж романа.

Поражает скудость содержания и однообразие его речей. Три предмета становятся излюбленными мотивами словесных упражнений Иудушки. Во-первых, бог и божья милость, во-вторых, семья и родственные от-

ношения, в-третьих, хозяйственная рачительность и усадебный уют. Эти понятия и верования плоть от плоти, кость от кости фамильных преданий, казенного воспитания, дворянской службы, поместного быта. Ведь теперешний помещик Порфирий Головлев еще совсем недавно был чиновником.

С языка Иудушки не сходят слова: бог, божья милость, бессмертные души. О чем бы ни зашла речь, Порфирий посылает хвалебные обещания создателю, Христу, царю небесному, господу-богу, ангелам-хранителям, божьим заступникам и угодникам. И выражается это не только в бесчисленных рассуждениях Иудушки о панихидах, лампадках, молебнах, угодных и неугодных богу молитвах, иконах и прочей церковно-обрядной мишуре. В представлениях Иудушки бог чаще всего выступает в роли богатого родственника, благоволящего к нему, Порфирию Головлеву. А то и в роли грозного небесного начальства — вроде исправника или мирового,— ограждающего интересы примерного христианина, сурово расправляющегося со всеми его недругами. «Лицемерие,— напоминает Салтыков-Щедрин,— было до такой степени потребностью его натуры, что он никак не мог прервать раз начатую комедию».

Долгим пустословным излияниям Порфирий Головлев мог предаваться и на тему о семье. И здесь взгляды Иудушки на редкость элементарны. Безоговорочно утверждается домостроевская доктрина: не ропщи, повинуйся старшим, не выходи из родительской воли.

Духовное ничтожество Иудушки выявляется ярче всего в его разглагольствованиях на хозяйственно-гастрономические сюжеты. Предел головлевских мечтаний — круглый капиталец, который надо умножать, а не транжирить, хорошенькое именьице, обильные припасы: «сколько одних погребов было и нигде ни одного местечка пустого!». Нужно, чтоб в доме было «светлехонько», «теплехонько», «уютненько». Особое пристрастие у Иудушки к разговорам о еде, о плодах земных.

Любой разговор приправлен смакующими толками о «карасях в сметане», «говядинке» и «телятинке», о «рыжичках» и «вишенках». «И поесть, и чайку попить, и вареньицем полакомиться — всего вдоволь есть! А ежели кушанье какое не понравится — другое спро-

си!.. Щец не захочется — супцу подать вели! Котлеточек, уточки, поросеночка...»

Редко щедринский герой «калякает» на темы, выходящие за религиозно-семейные и хозяйственные пределы. Но и в этих случаях его суждения все так же необыкновенно пошлы и плоски. Представления об отечестве полностью исчерпываются фразой: «Вот тетерев, например... в России их множество».

Государство связывается у Иудушки с верноподданническими понятиями о «начальстве» и «законе», охраняющем собственность господ. «Бога чтить, это — первое, а потом — старших, которые от самих царей отличие получили, помещиков, например».

Сведения о новых веяниях в жизни доходят до Иудушки в виде сплетен и слухов. Театр для него «скоморошничество», бесовское, греховное дело. Племяннице своей Анниньке он советует: «Ну, все-таки... актриса... обеденку бы тебе отстоять, очиститься бы!» К просвещению Иудушка относится крайне неприязненно: «У меня вот на́гловские (мужики — *Е. П., В. П.)*: есть нечего, а намеднись приговор написали, училище открывать хотят... ученые!»

Ни одного свежего, живого слова не встретится в речах Иудушки. Запас его понятий скуден. Определен он условиями затхлого, застойного быта усадьбы. Слова Порфирия несут запах кухни, погреба, непроветренной барской спальни, запах лампадного масла из господской молельни.

Уже одним обозначением того, как и о чем «тарабарит» и «разглагольствует» Порфирий Головлев, Щедрин обнажал страшную пошлость своего героя. «Пошлость,— писал сатирик в романе,— имеет громадную силу; она всегда застает свежего человека врасплох, и, в то время как он удивляется и осматривается, она быстро опутывает его и забирает в свои тиски. Всякому, вероятно, случалось, проходя мимо клоаки, не только зажимать нос, но и стараться не дышать; точно такое же насилие должен делать над собой человек, когда вступает в область, насыщенную празднословием и пошлостью. Он должен притупить в себе зрение, слух, обоняние, вкус; должен победить всякую восприимчивость, одеревенеть. Только тогда миазмы пошлости не задушат его». Сила иудушкиной пошлости смертельна.

Речи Иудушки оборачиваются лицемерием, бесстыдной ложью, тираническим зудением. Зуд губительно действует на окружающих. Но ради чего все это? На что направлены иудушкины плетения словес? Что толкает его хладнокровно и последовательно сеять вокруг себя смерть?

Порфирий Головлев — приобретатель, собственник. Лицемерными речами он и прикрывает свое хищничество.

Стремлению втереться в доверие «милого друга маменьки» и сохранить за собой лучшую долю наследства служат медоточивые письма Иудушки из столицы. Словесами о сыновней почтительности, о великодушии материнского чувства Иудушка добивается того, чтобы Арина Петровна не выбросила под горячую руку брату Степану новый «кусок» в виде «вологодской деревнюшки». В ответ на сетования Арины Петровны, что Степан промотал выделенную ему часть имения, Иудушка притворно ласково выражает сочувствие: «Ах, маменька! Это такой поступок! Такой поступок!» Тут же Порфирий «расходится соловьем» насчет святости родительского авторитета.

Даже у Арины Петровны словесные плетения Порфирия ассоциируются с закидыванием петли на шею. В сеть, сплетенную из лицемерных словес, попадает и она. Гибнет начисто ограбленный Иудушкой беззащитный брат Степан. Прибирается к рукам дубровинское поместье другого брата, Павла, который хотя и «знал, что глаза Иудушки источают чарующий яд, что голос его, словно змей, заползает в душу и парализует волю человека», но не смог противодействовать алчному иудушкиному пустословию. Нищают крестьяне, непрерывно выслушивая назидательные слова о законе и помещичьей справедливости. И тем не менее не происходит ничего исключительного.

Изредка под обволакивающим, нудно-сладеньким говорением Иудушки слышится придавленный стон жертвы. Изредка змеиную речь Иудушки прорвет яростное и бессильное проклятие обездоленного. И снова все затягивается убаюкивающими, тягучими речами героя, высматривающего очередную жертву.

Порфирий живет ложью, и только ею. Каждое его слово — ловушка для окружающих. Лицемерное слово

помогает Иудушке прикинуться религиозным человеком, строгим, но справедливым отцом, послушным сыном, гостеприимным родственником-дядей, заправским хозяином и примерным гражданином. Слово в его устах поистине становится блудливым, оно лишь имитирует благородные идеи и высокие побуждения, прикрывая зловещее бессердечие.

Тиранические речи Иудушки настигали каждого. «Ядом поливает»,— отзывается о нем Арина Петровна. Степан и Павел именуют братца не иначе, как «кровопивцем». Сын Володенька жалуется: «Очень, бабушка, надоедает... С ним только заговори, он потом и не отвяжется. Постой да погоди, потихоньку да полегоньку...» Петенька в глаза называет отца убийцей. «Страшно с вами»,— откровенно признается племянница Аннинька.

Но самое суровое осуждение высказано устами погорелковского крестьянина Федулыча. В прощальной беседе с Аннинькой он говорит: «А мы — было давеча бунтовать собрались. Коли ежели, думаем, нас к головлевскому барину под начало отдадут, так все в отставку проситься будем.

— Что так? Неужто дядя так страшен?

— Не очень страшен, а тиранит, слов не жалеет. Словами-то он сгноить человека может». За каждым таким высказыванием кроются боль и унижение, которые принес людям Иудушка.

Особую тональность придает Салтыков-Щедрин иудушкиным словам. Речь его насквозь пронизана фальшивой ласковостью и витиеватостью. В ней уйма уменьшительных форм. Жертвы Иудушкиного предательства изводятся родственным сюсюканьем. Отказав сыну в помощи, Иудушка по-родственному напутствует: «А теперь пойдем и будем чай пить. Посидим да поговорим, потом поедим, выпьем на прощанье — и с богом. Видишь, как бог для тебя милостив! И погодка унялась, и дорожка поглаже стала. Полегоньку да помаленьку, трюх да трюх — и не увидишь, как доплетешься до станции!»

Обреченную на близкую смерть Арину Петровну Иудушка подбадривает шуточками: «Дайте срок — всех скличем, все приедем. Приедем да кругом вас и обсядем. Вы будете наседка, а мы цыплятки... цып-цып-цып!»

Подобным же образом утешает Иудушка и умирающего брата: «Ах, брат, брат! Какая ты бяка сделался!.. А ты возьми да и приободрись! Встань да и побеги! Труском-труском,— пусть-ка, мол, маменька полюбуется, какими молодцами стали. Фу-ты! ну-ты!»

Все эти «цып-цып», «фу-ты, ну-ты», «трюх-трюх» и прочие слова-бирюльки придают речи Иудушки елейно фамильярный характер. Чуть ли не каждое слово превращает он в ласкательное: «говядинка», «телятинка», «лимонец», «опытец». Порфирий Головлев и постельных паразитов именует так же ласкательно, как папеньку с маменькой или братцев и племяннушек. «Каково почивал,— обращается он к сыну,— постельку хорошо ли постлали? клопиков, блошек не чувствовал ли?»

Праздномыслие и пустословие разъедает, как ржавчина, самого Иудушку, окончательно разрушает его личность. К концу романа в щедринском образе Порфирия Головлева как-то даже неожиданно начинают различаться трагические мотивы.

Финал Иудушки разработан во внутренней полемике с И. А. Гончаровым. Творец «Обломова» полагал, что последний из Головлевых, Порфирий, «может видоизменяться во что хотите, то есть делаться все хуже и хуже... потерять все нажитое, перейти в курную избу, перенести все унижения и умереть на навозной куче, как выброшенная старая калоша, но внутренне восстать — нет, нет и нет! Катастрофа может его кончить, но сам он на себя руки не поднимет. Разве сопьется...» Так писал И. А. Гончаров Салтыкову-Щедрину в декабре 1876 года.

Сатирик не пошел по этому пути. Он избрал другой, гораздо более трудный. Порфирий Головлев приходит к мысли о самоубийстве. И эта мысль зреет как раз в моменты, когда Иудушка сознает безысходный ужас своего положения. Ведь «Головлево — это сама смерть, злобная, пустоутробная; это смерть, вечно подстерегающая новую жертву». Смуту в его душе вызывают бесконечные воспоминания о головлевских «умертвиях». На это наталкивают рассказы Анниньки о самоубийстве сестры, рассказы, которые каждый вечер возобновляются по просьбе самого Иудушки.

Надо создать развязку, чтобы покончить с непосильной смутой, решает он. А такая развязка есть. Он уже с месяц приглядывается к ней и теперь, кажется, не проминет. «В субботу приобщаться будем — надо на могилку к покойной маменьке проститься сходить!» — вдруг мелькнуло у него в голове.

— Сходим, что ли?— обратился он к Аннииньке, сообщая ей вслух о своем предположении.

— Пожалуй... съездимте...

— Нет, не съездимте, а...— начал было Порфирий Владимирыч и вдруг оборвал, словно сообразил, что Аннинька может помешать».

Порфирий решил проститься не так, как прощаются обыкновенно, а «пасть на могилу и застыть в воплях смертельной агонии». Именно эти слова вспомнились ему в ночь перед смертью, повергли его в «ужасное томительное беспокойство».

«Наконец он не выдержал, встал с постели и надел халат. На дворе было еще темно и ниоткуда не доносилось ни малейшего шороха... Наконец он решился. Трудно сказать,— замечает автор,— насколько он сам сознавал свое решение, но через несколько минут он, крадучись, добрался до передней и щелкнул крючком, замыкавшим входную дверь...

На дворе был ветер и крутилась мартовская мокрая метелица, посылая в глаза целые ливни талого снега. Но Порфирий Владимирыч шел по дороге, шагая по лужам, не чувствуя ни снега, ни ветра, и только инстинктивно запахивая полы халата».

С редким художественным тактом и чуткостью Салтыков намеренно не нарисовал самого акта гибели. Читателю и без того была ясна трагичность расчета Порфирия Головлева.

Последние слова, которые произносит герой романа-хроники, обращаясь к Анниньке, воспринимаются как прощание с жизнью.

«Надо меня простить!.. За всех... И за себя... И за тех, которых уже нет... Что такое? Что такое сделалось?!— почти растерянно восклицал он, озираясь кругом — где... *все*?»

Только на последних страницах хроники щедринский герой заговорил настоящим человеческим языком. В его словах боль и неподдельное волнение. Пу-

стословие с его сюсюкающей елейностью и блудливостью исчезло. И в речи самого автора не слышно больше издевки, смеха, пусть даже горького: «Порфирий Владимирыч сидел... молчаливый и печальный».

Не жалость к вымороченному герою хотел возбудить финальной сценой Салтыков-Щедрин. Проснувшаяся совесть, всюду подчеркивает он, не открыла ни малейшей надежды на будущее исцеление. Иудушка обречен. «Одичалая совесть» истерзала его. Сатирик прибегает к такому осязательному, выпуклому сравнению, чтобы подчеркнуть безнадежность Иудушки:

«Человек видит себя в каменном мешке, безжалостно отданном в жертву агонии раскаяния, именно одной агонии, без надежды на возврат к жизни. И никакого иного средства утешить эту бесплодную разъедающую боль, кроме шанса воспользоваться минутою мрачной решимости, чтобы разбить голову о камни мешка...»

Совесть в Иудушке проснулась, но бесплодно, проснулась «поздно, без пользы, уже тогда, когда перед глазами стоял лишь бесповоротный и непоправимый факт».

Источник зла, как полагал Салтыков-Щедрин, не в дурной природе человека, а в условиях его жизни: ведь «болото,— писал он в цикле очерков «Круглый год»,— родит чертей, а не черти созидают болото». Сосредоточенный сатирический огонь писатель направлял на «болото», на нелепый мир современной ему России.

Активное использование щедринского типа Иудушки в литературе и публицистике имеет свою историю. Есть в этой истории беспримерное явление. Это обращение В. И. Ленина к образу Порфирия Головлева в целях политической, классовой борьбы [1].

В памяти новых поколений читателей были закреплены самые сильные черты Иудушки как пустослова, лицемера и хищника.

Роман Щедрина давно уже вошел в неписаный, но непременный читательский минимум наших современников. «Разве можно не дать ничего из «Господ ташкентцев», из «Господ Головлевых»?— спрашивала

---

[1] См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 15, с. 213.

Н. К. Крупская, размышляя в 1926 году о новой программе по школьному курсу литературы[1].

Слава создателя головлевской хроники перешагнула границы России. «Господа Головлевы» переведены и продолжают переводиться на многие языки мира. Знаменитый американский писатель Теодор Драйзер так вспоминал в 1939 году о первом своем чтении «основного труда» Салтыкова: «Книга настолько по-особому, так живо и действенно изображала русскую семью и все ее окружение, что это заставило меня увидеть в авторе не только выдающегося писателя своего народа, но и фигуру мирового значения».

---

[1] *Крупская Н. К.* Педагогические сочинения. Т. 3. М., Изд-во Акад. пед. наук, 1959, с. 253.

В СУМЕРКАХ



По приезде в Петербург в мае 1881 года И. С. Тургенев в разговоре с одним литератором заметил про Салтыкова-Щедрина:

— Он не только нисколько не стареет, но становится все лучше и сильнее, все ярче и определеннее... Знаете, что мне иногда кажется: что на его плечах вся наша литература теперь лежит. Конечно, есть и кроме него хорошие, даровитые люди, но держит литературу он.

Немного преувеличения было в этих словах писателя. И когда вскоре Салтыков под впечатлением многочисленных недоброжелательных отзывов о себе в печати пессимистически оценил итог своей жизни, И. С. Тургенев стал горячо ему возражать:

«Кто возбуждает ненависть, тот возбуждает и любовь. Будь Вы просто потомственный дворянин М. Е. Салтыков — ничего бы этого не было. Но Вы Салтыков-Щедрин, писатель, которому суждено было провести глубокий след в нашей литературе,— вот Вас и ненавидят — и любят, смотря кто. И в этом «результат Вашей жизни», о котором Вы говорите,— и Вы можете быть им довольны».

В 1875—1876, в 1880—1881 годах и позднее Салтыков-Щедрин по настоятельному совету врачей выезжал на лечение за границу — в Германию, Швейцарию, Францию. Запад встретил его лживой проповедью буржуазного прогресса и воинственным прусским духом, настойчивой рекламой прелестей французской парламентской системы и все тем же, только в иных, куда более крупных, чем на Руси, масштабах, всесильем «чумазых». Собственно, там это уже были не «чумазые», а респектабельные, преуспевающие, солидные господа.

Для русских, как часто говорил Салтыков-Щедрин, Франция Вольтера и Дидро, Сен-Симона и Фурье имела особенное значение, значение светоча. «Поэтому как-то обидно делается при мысли, что этот светоч погиб. Да и зрелище неизящное выходит: все был светоч, а теперь на том месте, где он горел, сидят ожиревшие менялы и курлыкают».

Быстро начинает скучать Михаил Евграфович даже на юге Франции, в роскошной и солнцеобильной Ницце. Его тянет домой, в сумрачный Петербург, в свой писательский кабинет, к вечно заваленному рукописями и книгами столу. И именно в эту пору, в самом начале восьмидесятых годов циклом очерков «За рубежом» русский сатирик-демократ выходит на международную арену.

«Священнейшие основы общества» — семья, собственность и государство — не выдерживают даже снисходительной критики. Словно червь дерево, их источили лицемерие и ложь. Государство фактически находится на откупе у буржуазии. Успех политических лидеров гарантируется не умом, не преданностью отечеству, а пронырливостью, наглостью и демагогией. «Щедрин,— писал В. И. Ленин по поводу очерков «За рубежом»,— классически высмеял... Францию, расстрелявшую коммунаров, Францию пресмыкающихся перед русскими тиранами банкиров, как республику без республиканцев» [1].

В веселом по форме диспуте «мальчика в штанах» и «мальчика без штанов» Запад сопоставляется с Россией. Хотя порядки, сложившиеся там и здесь, отличны друг от друга, но в главном они одинаково враждебны как русскому крестьянину, так и французскому или немецкому пролетарию. Однако различие порядков на Западе и у нас, как полагает сатирик, дает о себе знать. Как ни тяжело в настоящее время русскому «мальчику без штанов», как ни угрожают ему колупаевы с разуваевыми, все же он не испорчен буржуазностью, не ослеплен видимостью комфорта и благополучия. Его душа свободна, он решительнее, чем зарубежный аккуратный «мальчик в штанах», может рассчитаться со своими врагами. Но еще очень крепки

[1] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 14, с. 237.

были на родине сатирика устои реакционного самовластного режима.

«Ужасный день. Ум цепенеет и отказывается признать совершившееся. Среди бела дня в многолюдной столице совершено покушение на жизнь государя императора»,— так испуганно сообщала газета М. Н. Каткова «Московские ведомости» об убийстве 1 марта 1881 года народовольцами Александра II.

В петербургских и московских газетах того памятного года вслед за громкими сожалениями по поводу смерти императора можно было встретить категорические требования такого рода: «Пора нам отрезвиться, пора стать зрелыми и здравомыслящими людьми». Отовсюду стали доноситься «благонамеренные речи»:

— Нужно установить тесную кровную связь между полицией и обществом!

Самая низкопробная брань слышится в адрес тех, кто никак не мог оставить привычку мыслить, сомневаться, выражать недовольство. В «нравственную атмосферу» жизни проникает подозрительность и трусость. Разбушевавшиеся ретрограды без стеснений насмехаются над передовым общественным мнением. Вчерашние либералы, предпочитая примкнуть к негодующему хору консерваторов, спешат заявить, что «в России периодическая печать в огромном большинстве своих представителей явилась элементом разлагающим; она принесла русскому обществу не свет, а тьму. Она породила Чернышевских, Добролюбовых, Писаревых и многочисленных их последователей, которым имя ныне легион».

Шпиономания провозглашается «строгим наблюдением друг за другом». Все громче раздается требование быстрее начать «столь необходимое истребление злодеев». Доносчики и другие социально нечистоплотные нарекаются борцами с изменой. И ни один истинно русский не имеет, оказывается, права смотреть на эту измену как на постороннее для него дело. «Очень уж худое время наступает»,— сообщает Салтыков в одном из писем Г. З. Елисееву в первых числах марта 1881 года.

В 1881—1882 годах Салтыков-Щедрин печатает «Письма к тетеньке». Страшная пора, период темной, сначала правительственной, а потом и общественной

реакции, порождала страшные, неведомо откуда, на первый взгляд, бравшиеся образы и ассоциации. Писателя обступали удушливые запахи, неподвижная тишина, холодный мрак. Еще в заключительных сценах «За рубежом», опубликованных после 1 марта 1881 года, чавкающая «торжествующая свинья» пожирает правду.

Громкое чавканье торжествующей свиньи отчетливо разносилось в сумерках, опустившихся на российскую империю. Словно призраки из небытия, вставали новые персонажи «Писем к тетеньке»: добровольные сыщики, или, как они сами себя величали, «содействователи» властям, захудалые дворяне, либералы, «сведущие люди», дворники, «общественные проституты». Как-то сами собой оказываются среди них и прежние сатирические герои самого Салтыкова-Щедрина и герои Гоголя, Фонвизина, Грибоедова, Сухово-Кобылина, Тургенева... Но наибольший интерес, бесспорно, представляла сама «тетенька».

Отношение автора к ней на протяжении всей переписки меняется: от издевательски-иронических восторгов по поводу «прошивочек» в тетенькиных туалетах сатирик доходит до едва ли не патетического утверждения мысли о «тетеньке» — силе. «Я твердо убежден, что в делах современности от вас зависит многое, почти все... Сознайте же свою силу»,— взывает к ней Салтыков-Щедрин.

«Тетенькой» писатель эзоповски именует широкие оппозиционные круги русской интеллигенции. Сатирик обличает интеллигенцию за проявленную ею готовность в тепле да в неге ужиться с реакцией. Весь облик кокетливо молодящейся дамочки — «тетеньки», чуждой духовных интересов и в то же время неустойчивой в своих убеждениях,— остроумная насмешка над российскими либералами.

Но в «Письмах к тетеньке» сквозит надежда, что либеральная русская интеллигенция окончательно не погасит в своей среде очаг оппозиции, останется верной былым демократическим идеалам. Сатирик берет «тетеньку» под защиту от неистовых полицейских преследователей в самое худое для нее время. Ведь в жизни все громче и нагляднее заявляла о себе другая сила.

На рауте у тайного советника Грызунова, одним из прототипов которого исследователи считают лицейского товарища Салтыкова, известного буржуазного экономиста В. П. Безобразова, хозяин дома украдкой отводит автора в сторонку и доверительно шепчет ему на ухо: «Ноздрев нынче — сила! да-с, батюшка, сила! И надо с этой силой считаться! Да-с, считаться». Впрочем, задолго еще до этого эпизода становится ясно, что именно Ноздрев призван ныне вершить дела. После 1 марта 1881 года известный гоголевский герой стал лицом незаменимым.

Щедринский Ноздрев — «это далеко уже не тот буян Ноздрев, которого мы знавали в цветущую пору молодости», а «солидный, хотя и прогоревший консерватор», начавший свою карьеру с удивительно удачного доноса и ставший в итоге редактором газеты «Помои — издание ежедневное».

Ноздрев приобрел «спокойное величие» и сделался добровольным охранителем политических порядков. Он отнюдь не главное начальство. Но он один из «главных делопроизводителей», усердных и рьяных, способный никого не щадить, подозрительный и вороватый. Даже в разговорах своих собутыльников-единомышленников он готов узреть «почти революционный характер».

Кто кого одолеет в этой схватке двух «сил»: Ноздрев «тетеньку» или наоборот? Неустойчивость «тетеньки», недавно еще предававшейся либеральным ликованиям, а теперь готовой заигрывать с полицейскими чинами, тревожит писателя. Сатирический пафос — пробудить у интеллигентных русских людей стыд за то, что делается вокруг, напомнить в этот страшно унылый час о совести, о достоинстве человека — определяет весь труд художника.

Цензура грубо вмешивается в самый процесс творчества, разрушает первоначальные планы продолжения «Писем к тетеньке». «...У меня два письма готовых — и я должен их бросить», — сообщает Салтыков-Щедрин Г. З. Елисееву 30 сентября 1881 года. Возникает мысль, не оставить ли «Письма» вообще: «А так как у меня, — пишет сатирик, — вся мозговая деятельность была направлена в эту сторону, то и не знаю, что дальше будет».

Случилось то, чего Салтыков-Щедрин опасался каждую минуту. Было запрещено особенно дорогое ему третье письмо, где сатирик явно намекал на тайную террористическую организацию, учрежденную в России с ведома царя для расправы с революционерами. Но утрата одного очерка восполняется новыми ядовитыми эзоповскими беседами. В новой редакции злополучного третьего письма появляется фраза почтового чиновника: «Которые письма не нужно, чтоб доходили...— те всегда у нас пропадают». И здесь же насмешливое обращение к «тетеньке»: «А вы, между тем, уж и теперь беспокоитесь, спрашиваете: жив ли ты? Ах, добрая вы моя! разумеется, жив! Слава богу, не в лесу живу, а тоже, как и прочие все, в участке прописан!»

Мучительно, в борьбе с подступающей болезнью и унынием, в схватке с цензурным ведомством, окруженный «хлевными ликованиями» толпы, завершал сатирик свой цикл очерков. А вслед за «Письмами к тетеньке» Салтыков-Щедрин приступает к продолжению работы над романом «Современная идиллия», начатым в 1877—1878 годах.

Еще в раннем очерке «Литераторы-обыватели» («Сатиры в прозе») Салтыков-Щедрин иронически именовал русскую жизнь «нашей родной отечественной идиллией». Причем идиллия эта, по замечанию автора, преимущественно избирает себе убежище в «самом сердце полиции». И вот теперь, в восьмидесятые годы, сатирик возвращается к мысли создать современную картину общественного быта и нравов.

Жизнь героев нового романа проходит на улице, в публичных местах. Полицейский участок сменяется адвокатской конторой, купеческий особняк — богатым трактиром, салон на пароходе — постоялым двором в уездном городишке, дворянская усадьба Проплёванная — залом Каширского окружного суда, имение князя Рукосуя — нищим селом Благовещенским, столичная судебная камера — редакцией газеты «Словесное удобрение»... В этой стремительной смене мест действия нет авторского произвола. В метаниях героев есть своя логика, свой основной мотив — мотив самосохранения.

Бесхребетность, оппортунизм, склонность к политическому предательству русских либералов угадываются

в думах и делах Рассказчика и его друга Глумова. Но нередко они выступают в «Современной идиллии», при всех своих ренегатских подвигах, и как жертвы полицейского режима, жертвы реакции.

Герои все глубже и глубже опускаются на дно политического разврата. Вся их жизнь — в «якшанье» с рыцарями эпохи, продажными адвокатами, купцами-миллионщиками, тайными осведомителями, которые в отравленной полицейским сыском атмосфере чувствуют себя как рыба в воде.

Но по-иному выглядят главные герои романа, когда в них вдруг заговаривает старое, на какой-то момент прорывается человеческое, просыпается совесть. Они способны в таких случаях подняться мыслью до сомнений, действительно ли негодяю так-таки и оставаться бессрочно властителем дум современности.

Характерный признак того времени — нерасторжимое соединение реакционной политики и уголовного преступления. Этот признак дал и тему и сюжет «Современной идиллии». Сатирик-демократ открыл одну из ведущих тенденций деспотического режима. Достаточно припомнить, как К. Маркс заклеймил французский бонапартизм афористической формулой: «Только воровство может еще спасти собственность, клятвопреступление — религию, незаконнорожденность — семью, беспорядок — порядок!» [1]

Даже среди лучших салтыковских сатир «Современная идиллия» отличается поразительным богатством художественных красок, разнообразием форм и приемов. Писатель соединил пародию, гиперболу, фантастику с предельно реалистическими картинами.

В «Идиллию» естественно входит огромный материал, остроумно освещающий истоки тех перемен, что привели русское общество к полицейскому разгулу, к политике «ежовых рукавиц», к постепенной утрате понятий стыда и совести.

Самые острые политические идеи и разоблачения писатель облек в форму гиперболических образов. Чего стоят только «Сказка о ретивом начальнике» или суд над пискарем — Иваном Хворовым в Кашине.

---

[1] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Изд. 2-е. Т. 8. М., Госполитиздат, 1957, с. 214.

Ретивый начальник искренне полагал, что «обывателя надо сначала скрутить, потом в бараний рог согнуть, и наконец, в отделку, ежовой рукавицей пригладить. И когда он вышколится, тогда уж сам собой постепенно отдышится и процветет».

Подобные, на первый взгляд вставные, сцены и куски обнажали основную непримиримо-критическую идею романа, свободно включаясь в его композицию. Подвиги героев «Идиллии» в чрезвычайной степени фантастичны. Но ведь в такой же мере невероятны и действия реальных вдохновителей и организаторов реакции.

Салтыков-Щедрин заканчивает роман многозначительной картиной Стыда. Окунувшись с головой в омут благонамеренности и реакции, Рассказчик и Глумов не смогли до конца превратиться в негодяев и духовно омертветь. В героях взбунтовалось, хотя и сильно посрамленное, но не окончательно растоптанное человеческое начало.

Глумов и Рассказчик — жертвы «современной идиллии», но они же и виновники, они же и инициаторы собственного оподления. И нечего для самооправдания кивать во все стороны, а чаще всего вверх, кивать на других. Ответственность за свою жизнь, за свое общественное поведение, за судьбу родины, за судьбы народа несут сами «средние люди», сами рассказчики и глумовы. «Тяжело жить современному русскому человеку,— писал Салтыков-Щедрин П. В. Анненкову 25 ноября 1876 года,— и даже несколько стыдно. Впрочем, стыдно еще не многим, а большинство даже людей так называемой культуры просто без стыда живет. Пробуждение стыда есть самая в настоящее время благодарная тема для литературной разработки, и я стараюсь, по возможности, трогать ее».

В эту пору в кабинете Салтыкова-Щедрина на Литейном все чаще в ответ на вопрос о самочувствии хозяина можно было услышать:

— Да вот болею... всесторонне... Надо работать, а цензурные и прочие удавы так свирепствуют, что просто руки опускаются.

То и дело в публике, как и прежде, возникают и упорно держатся слухи, что писатель арестован, или проходит молва, что нет уже сатирика в столице, что

отправлен он, мол, уже по этапу. Рассказывали, что как-то раз внезапно нагрянули с обыском на квартиру писателя жандармы. Ну а в кабинете Салтыкова-Щедрина якобы были какие-то властями не дозволенные бумаги. Салтыков, не растерявшись, сел за фортепьяно и заиграл национальный гимн «Боже, царя храни». Жандармы прервать исполнение гимна не решились и терпеливо дожидались его конца. А тем временем домашние спешно уничтожали в кабинете компрометирующие рукописи.

Ничего подобного с Салтыковым не происходило. «Но уже тот факт, что *все* этому верят, показывает достаточно, в каких привычках воспитано наше общество»,— с горечью пишет сатирик. Публика считала вполне допустимым, вполне нормальным сам обыск у неблагонамеренного писателя и удивленно радовалась лишь его сметливости. Бывало такое и до 1881 года. Теперь же совесть и стыд читающей публики, казалось, были утеряны безвозвратно. И художник с новым упорством ведет свои периодические беседы с читателем, предупреждая, что будет говорить уже не тем спокойным тоном, каким говорил до сих пор.

В декабре 1883 года, когда вновь участились террористические акты народовольцев, в Петербурге был убит главный инспектор секретной полиции, жандармский подполковник Судейкин. Вскоре один из посетителей редакции «Отечественных записок», приезжий из провинции, решился спросить у Салтыкова:

«— Михаил Евграфович! Говорят, революционеры убили какого-то Судейкина. За что они убили его?

— Сыщик он был,— ответил Салтыков.

— Да за что же они его убили?

— Говорят вам по-русски, кажется: *сыщик* он был.

— Ах, боже мой, я слышу, что он был сыщик,— не унимался собеседник,— да за что же они его убили?

— Повторяю вам еще раз: *сыщик он был.*

— Да слышу, слышу я, что он сыщик был, да объясните мне, за что его убили?

— Ну если вы *этого* не понимаете, так я вам лучше растолковать не умею».

И хотя Салтыков никоим образом не разделял наивно-героические иллюзии террористов, хотя понимал, что террор лишь раздразнит свинью реакции, он

искренне симпатизировал этим самоотверженным и честным людям.

«Пробуждение стыда» — это не узколичная для каждого человека проблема. Цель писателя—пробудить сознание всего общества. С болью в сердце, почти с трагическими интонациями Салтыков-Щедрин, однако, замечал на заключительной странице романа «Современная идиллия», что сам по себе стыд, сами проблески сознания и совести — все это еще слишком редкие и случайные гости, которых к тому же люди часто, сознательно или бессознательно, гонят от себя прочь.

«Говорят, что стыд очищает людей,— замечает он,— и я охотно этому верю. Но когда мне говорят, что действие стыда захватывает далеко, что стыд воспитывает и побеждает,— я оглядываюсь кругом, припоминаю те изолированные призывы стыда, которые, от времени до времени, прорывались среди масс бесстыжества, а затем все-таки канули в вечность... и уклоняюсь от ответа».

Это — горькие размышления художника-демократа, который знал, чем закончилось восстание декабристов, сам пережил разгром петрашевцев, сменил опального Чернышевского на посту редактора журнала, наблюдал отчаянный поединок народовольцев, сам засучив рукава боролся с реакционным «бесстыжеством». Тяжелый общественный опыт не позволил ему провозгласить скорую победу сил прогресса.

Предвидя злорадные возражения похоронивших стыд людей, что, мол, никому и ничего проповедь сатирика не дает, Салтыков с достоинством добавлял: «Быть может, я никогда ничего не достигну в этом смысле, но ведь, по справедливости говоря, когда человек мыслит так или иначе, он очень редко имеет в виду, что из этого непременно должен выйти практический результат. Он просто мыслит так, потому что иначе мыслить не может». Мысля так, а не иначе, взывая к совести своих читателей, он никогда не утрачивал веры в «практический результат». Вера в народ, в конечное торжество передовых демократических идей, пусть еще и далеких от осуществления, вдохновили автора «Современной идиллии» на открытый вызов самодержавию, правительственной реакции.

И вызов был принят. После неоднократных раздраженных предупреждений весной 1884 года журнал Салтыкова-Щедрина «Отечественные записки» был запрещен.

В официальном сообщении, напечатанном в «Правительственном вестнике», говорилось, что журнал закрыт за вредное направление и за связь редакции с революционным подпольем.

И хотя сатирик отчетливо представлял, как жаждут многие из недругов «изъять из публики» его журнал, его сочинения, его имя, хотя трагическую развязку он давно предчувствовал, удар пришелся в самое больное место. Неумолимая угрюм-бурчеевская длань настигла и жестоко покарала сатирика. Спасти журнал было невозможно никакими усилиями.

«Закрытие «Отечественных записок» произвело во всем моем существе нестерпимую боль... В будущее еще не заглядываю. Вижу, что связь моя с читателем порвана, а я, признаться, только и любил, что эту полуотвлеченную персону, которая называется «читателем»,— так писал Салтыков-Щедрин в мае 1884 года.

Гибель любимого детища произвела на писателя гнетущее впечатление, вызвала новые приступы болезни.

Навещавшим его литераторам он говорил:

— Вы не можете себе представить, какое для меня лишение, что я не могу ежемесячно говорить с публикой, и притом, о чем хочу... Я жил только общением с публикой.

Деятельная натура сатирика не примирилась с этой новой бедой: «Я решился печататься в «Вестнике Европы» и отчасти в «Русских ведомостях» — больше идти некуда. Но, конечно, и в том и в другом месте я буду не более как случайный сотрудник. Скучно мне до зарезу...» Приходилось идти к «чужим людям», обращаться в редакции умеренно-либеральных изданий.

И снова тот же горестный мотив: «Я на свете любил только одну особу — читателя, и его теперь у меня отняли».

СКАЗКИ



После года щедринской «переписки с тетенькой», так и не решившей для себя, чему предаться: «скромному ли оцепенению или блудливой повадливости», вездесущий Глумов совершенно неожиданно спрашивает Рассказчика:

«— Ты с теткой-то продолжаешь переписываться?

— Продолжаю.

— А она отвечает тебе когда-нибудь?

— Редко и несложно. «Целую тебя несчетно» — только и всего».

Сколько горечи и иронии в этих последних словах Рассказчика: «только и всего». Салтыков-Щедрин сознает, что положение русского общества трагично. Не сознают этого лишь пошехонцы и глуповцы, которые «разиня рот» наблюдают расправу над «человеком со связанными руками», над ним, Салтыковым-Щедриным. Стоят эти люди, «смотрят и думают: однако, как же его не бить! ведь он — вон какой!» — так иронически писал сатирик П. В. Анненкову после запрещения «Отечественных записок».

Были у сатирика и истинные друзья — читатели. К нему тянулась революционная молодежь. Почта нередко приносила ему письма, полные горячего сочувствия.

Но идут годы, и писатель с тревогой замечает, как «чутье читающей публики делается все менее состоятельным». Ждет Салтыков-Щедрин «материальной и нравственной поддержки», а доносятся до него лишь «дешевые рукоплескания» «захмелевшей толпы» да «трактирные спичи, одинаково готовые петь хвалу и успеху деятеля, и его исчезновению с поля деятельности».

Как раз в это время сатирик замечал, что на Руси «происходят такие вещи, что временами становится просто странным жить на свете».

Но писатель чувствовал и нарастающий «подземный гул» масс. Слово литератора в эти годы, в годы ожидания и предчувствия крупных перемен, и в такой сумрачной обстановке обязательно должно быть обращено к массам, должно доходить до них, должно быть ими понято. Остро необходимым стало расширение читательской аудитории, приобщение народа к сатирическому оружию.

Салтыков-Щедрин, как и многие другие его современники, отчетливо понимал это. Любимая народом, издавна почитаемая им форма сказки совсем не случайно становится одним из основных жанров именно в восьмидесятые годы. Сказки, каждый на свой манер, на свой художественный лад, на свой идейный взгляд, пишут в это время Л. Н. Толстой, В. М. Гаршин, В. Г. Короленко.

В 1882—1886 годах над сказками упорно работает Салтыков-Щедрин. Самые смелые и неблагонамеренные мысли умудряется он облекать в сказочно-иносказательные формы. В щедринских сказках как в миниатюре заключены образы и проблемы всего творчества сатирика. Написанные в конце жизни, они как бы подытоживали его многолетний литературный труд.

Пафос сказок Салтыкова-Щедрина — в неумирающих демократических идеях его сатиры.

В сказках «Бедный волк», «Медведь на воеводстве» читатели вновь встречались с известными щедринскими помпадурами. Герои сказок — трусливые и продажные либералы с их шкурным инстинктом («Обманщик-газетчик и легковерный читатель», «Либерал»), бестолковые и скотоподобные крепостники, изо всех сил старающиеся уберечь свои былые привилегии («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик»), трепещущие обыватели, забившиеся в свои норки и ожидающие неприятностей отовсюду («Премудрый пискарь», «Здравомысленный заяц»).

Среди прочих персонажей в сказках то и дело появлялись люди из народа, часто забитые, хранящие надежду найти защиту у власти, преданные труду и не осознавшие пока свою силу — силу истинных производителей всего, чем вообще держится жизнь человеческая («Коняга», «Кисель», «Праздный разговор»,

«Деревенский пожар», «Путем-дорогою», «Ворон-челобитчик»).

Иной раз сатирик метил в самые «верхи» и даже непосредственно в царя («Орел-меценат», «Богатырь»). И тогда сказкам предстояла трудная и очень неспокойная жизнь: о печатании их в России нечего было думать, и вопреки всем цензорам, в обход всех известных официальных каналов, щедринские сказки распространялись нелегально, в списках.

К сказочному жанру писатель неоднократно обращается с 1869 года. Но еще в «Запутанном деле», в горестной истории о бедняке Мичулине, появились строки, во многом знаменательные для будущего сатирика, предваряющие в какой-то мере образы его поздних сказок: «На улицах и площадях толпились волки, голодные, кровожадные волки... и пожирали друг друга».

Рыбье царство, мир пискарей и щук, впервые бегло обрисовано еще в «Губернских очерках». Здесь появляются «чиновники-осетры», «чиновники-пискари», «чиновник-щука, который во время жора заглатывает пискарей».

Животные с давних пор стали обитателями, мало того, активными персонажами народных сказок. Никого не удивляет, как преспокойно говорят они друг с другом, как по-людски думают, чувствуют и действуют. Кровожадный волк, трусливый заяц, глупый баран, коварно-хитрая лиса — привычные действующие лица многих народных повествований. Вместе со всякими людскими персонажами сказочное зверье у Салтыкова-Щедрина подчас сохраняет и свои, только животным присущие особенности. Однако уж больно удивительны эти особенности.

Снегирь в щедринской сказке «Орел-меценат» — «малый шустрый и с отроческих лет насвистанный». И вдруг узнаем, что он, «научившись ставить знаки препинания, начал издавать без предварительной цензуры газету «Вестник лесов». Но этого мало. Оказывается, издавая газету, снегирь еще и «никак приноровиться не мог». «То чего-нибудь коснется — ан касаться нельзя; то чего-нибудь не коснется — ан касаться не только можно, но и должно. А его за это в головку тук да тук».

Дятел из той же сказки «целые дни сидел на сосновом суку и все долбил». Дятел как дятел, а «надолбил целую охапку исторических исследований: «Родословная лешего», «Была ли замужем Баба-Яга», «Каким полом надлежит ведьм в ревизские сказки заносить?» и прочее. «Но сколько ни долбил,— продолжает между тем автор,— издателя для своих книжиц найти не мог. Поэтому он и надумал: пойду к орлу в дворовые историографы! авось либо он вороньим иждивением исследования мои отпечатает!»

Что это за «воронье иждивение»? Автор и это объяснит достаточно ясно и ядовито: «Ворона — птица плодущая и на все согласная. Главным же образом тем она хороша, что сословие «мужиков» представлять мастерица».

В сказках Салтыкова-Щедрина трудно «разъять» животных и людей: «Карась — рыба смирная и к идеализму склонная». Или: «Что касается до ершей, то эта рыба уже тронутая скептицизмом и притом колючая!» И тут же следует невозмутимо спокойное добавление: «Будучи сварена в ухе, она дает бесподобный бульон».

Сказка, сохраняя многие из своих традиционных, веками складывавшихся в народе свойств, под пером Щедрина превращается в политическую сатиру. Что ни слово, то новый едкий намек на современные сатирику отечественные дела. Что ни образ, то новый дерзкий выпад против царствующих орлов, прекраснодушных карасей, умеренно-либеральных пискарей.

Фантазия подсказывает сатирику самые невероятные, но вполне оправданные превращения. Оправдывает эти превращения российская жизнь.

«В некотором царстве, в некотором государстве,— рассказывает сатирик в сказке «Дикий помещик»,— жил-был помещик, жил и, на свет глядючи, радовался. Всего у него довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов». Начало как начало. Напоминает обычный сказочный зачин. Смущение вызывает, правда, следующая за этим строка: «И был тот помещик глупый, читал газету «Весть» и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое».

Помещичья глупость, выливающаяся в чтение крепостнической газеты «Весть», и помещичья дебелость —

такое неожиданное сближение внешне несоединимого вызывает комический эффект. И дальше в комическом же ключе преподносится история совершенно реальных отношений помещиков и крестьян после отмены крепостных порядков. Глупый помещик только и знает, что молит бога избавить его от несносных мужиков с их дурным холопьим духом. «Освобожденные» мужики «куда ни глянут — все нельзя, да не позволено, да не ваше! Скотинка на водопой выйдет — помещик кричит: моя вода! курица за околицу выбредет — помещик кричит: моя земля!»

И вот взмолились вконец отчаявшиеся крестьяне: «Господи! легче нам пропасть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться». Тут-то и приключилось самое невообразимое: в одно мгновение, одним духом весь мужицкий мир бесследно исчез, а точнее, поясняет затем автор, по лицу земли рассеялся. Остался помещик один-одинешенек в своем имении, крепился, крепился да и одичал: «Весь он, с головы до ног, оброс волосами... а ногти у него сделались, как железные. Сморкаться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный».

Гротескный намек был очевиден: мужиком живет Россия, его трудом и заботами; подневольный мужичий труд дебелость помещичью сохраняет. Та же мысль с еще большей определенностью проступает в одной из самых популярных щедринских сказок, в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил», написанной, как и «Дикий помещик», еще в 1869 году и тогда же опубликованной в «Отечественных записках».

Снова традиционное сказочное вступление, весьма сжатое и быстро подводящее к фантастическому происшествию: «Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове».

Много еще чудес встречается в этой сказке. И как, изголодавшись на острове и остервенясь, они вдруг «начали медленно подползать друг к другу». Мигом «полетели клочья, раздался визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего то-

варища орден и немедленно проглотил». И как внезапно приходит им в голову мысль найти на необитаемом острове мужика. И как запах овчины привел их к дереву, под которым «брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы».

Чудо следует за чудом. Днем мужик из собственных волос мастерит силок для поимки рябчиков, добывает генералам разную провизию, в пригоршне суп варит, а ночью им же самим свитой веревкой генералы привязывают мужичину к дереву, «чтоб не убег».

Наконец, изловчившись, мужик сооружает такую посудину, которая смогла по океан-морю доставить генералов домой, в Петербург. Торжествовали генералы: пока они на необитаемом острове проживали, пенсии их все накапливались. «Поехали они в казначейство и сколько тут денег загребли — того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!»

Сквозь необычайный комический сюжет проступает беспредельная горечь сатирика.

Сказки Салтыкова-Щедрина полны горестных сетований на долготерпение народа, на его наивные политические иллюзии. И одновременно они согреты неподдельной любовью к страдающему труженику.

Прожорливые щуки, орлы-меценаты, медведи на воеводстве — все это сила хищная. Невозможно мужику ладить с ней, уживаться в мире. Салтыков-Щедрин стремится втолковать угнетенному народу, до которого могли дойти его сказки, что он, народ, — сила, и сила чрезвычайно могучая и грозная. Сатирик хочет вооружить многострадального и долготерпеливого мужичину мужеством, разбудить в нем огромную энергию для отпора царствующим хищникам, для борьбы с ними.

Притеснители народа — это жестокая, но не столь уж страшная сила. Воображение рисует ему некоего Богатыря (сказка «Богатырь»), вскормленного Бабой-Ягой, которому целую тысячу лет поклонялись обыватели. Богатырь с незапамятных пор спал в дупле дуба, и только «перекатистые храпы кругом на сто верст пущал». И вот в минуту опасности, когда супостаты пошли войной на ту страну, «в коей боятся Богатыря

за то только, что он в дупле спит», мир был потрясен неожиданным открытием:

«А ведь Богатырь-то гнилой!»

Подошел к нему дурак Иванушка, перешиб дупло кулаком — глядь, а «у Богатыря гадюки туловище вплоть до самой шеи отъели».

Народное терпение знает свой предел. Возмущение масс должно непременно прорваться. Так твердо полагал Салтыков-Щедрин.

«Худо наше крестьянское житье! Нет хуже... Терпим и холод, и голод, каждый год все ждем: авось будет лучше... доколе же? Ан и в самом деле Правды на свете нет!» — ропщут мужики в сказке «Путем-дорогою».

«Доколе мы будем терпеть? Ведь ежели мы...» — отваживается было произнести угрозу от имени всего вороньего рода Ворон-челобитчик в одноименной сказке.

А Топтыгин 2-й («Медведь на воеводстве») своими бесконечными погромами вывел мужиков из терпения.

«Взорвало мужиков.

— Ишь, анафема! перед начальством выслужиться захотел, а мы через это пропадать должны! А нутко-то, братцы, уважим его!»

И расправились мужики с притеснителем, посадили его на рогатину, «содрали с него шкуру, а стерво вывезли в болото, где к утру его расклевали хищные птицы».

Но отдельные акты мужицкой расправы с угнетателями, отзвуки которых проникли в щедринские сказки, не могли успокоить сатирика. Он возлагал надежды на крестьян, но отдавал себе отчет в том, что мужик к революции не готов. Вот в чем был источник глубоких трагических переживаний Салтыкова-Щедрина, вот в чем драматический пафос его знаменитой сказки «Коняга».

Эту сказку вызвали к жизни острая боль и тревога Салтыкова-Щедрина за судьбу народа, сильного и забитого, не осознающего своей мощи: «Кто освободит эту силу из плена? кто вызовет ее на свет?»

Бедный коняга, «сколько веков он несет это иго — он не знает; сколько веков предстоит нести его впереди — не рассчитывает. Он живет, точно в темную бездну погружается, и из всех ощущений, доступных

живому организму, знает только ноющую боль, которую дает работа».

Близость щедринских сказок к народному творчеству выражается прежде всего в авторских представлениях о добре и зле, о нищете и богатстве, о суде правом и неправом, о решительном преобладании враждебных народу сил и вместе с тем о неминуемом торжестве разума и справедливости. Даже там, где зло явно и недвусмысленно одерживает верх над беззащитностью, робостью, прекраснодушием («Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Добродетели и пороки» и др.), автор вершит над ним суд, выносит суровый, обжалованью не подлежащий, сатирический приговор, давая понять, что вместе со злом осуждает всех его и вольных, и бессознательных потатчиков.

Сатирик хранит веру в социалистический идеал. Он развивает и художественно пропагандирует демократические и социалистические принципы. При этом он нередко обращается к форме религиозных притч, понятных народу («Христова ночь» и «Рождественская сказка»), или облекает «неблагонамеренные» идеи в ненормальные, с точки зрения господствующей морали, речи. По воле автора, крамольные мысли могут высказывать их явные и ярые враги, вроде сановного коршуна из сказки «Ворон-челобитчик», который предсказывает, что «объявится настоящая, единая и для всех обязательная Правда; придет и весь мир осияет».

Но нелегко ещё, очень нелегко живется на свете честным людям, которые по велению сердца заступаются за слабых, открыто помогают бедным и обездоленным и говорят всем в глаза одну только правду. Да и не много таких людей. Заведется где-нибудь один, ему уже и кличка готова: «дурак». Так зовут героя одноименной щедринской сказки. Как часто это бывает у сатирика, традиционный зачин в ней уже настораживает: «В старые годы, при царе Горохе это было: у умных родителей родился сын дурак». И вдруг тут же: «Бывают дураки легкие, а этот мудреный». И выясняется дальше, что Иванушка-то — дурак необыкновенный, он «сидит себе дома, книжку читает». А случись у кого беда, первый на помощь бежит. Увидит голодного Левку, не спросясь у богатого булочника, возьмет с прилавка калач да и снесет ему. Его бьют за

это, а он даже не кричит: не буду! за что! Всплакнет, почувствовав боль, и удивится беспричинной людской жестокости. Отдали «дурака» учиться, а он и в «заведении» то и дело отличается: то вопрос какой-нибудь неуместный задаст, то понять ученой казуистики, «науки о накоплении и распределении богатств», не может. И даже исправника завидев, не перебегает на другую сторону улицы, но идет «прямо навстречу, точно ни в чем не был виноват». Так и прожил он свою беспокойную жизнь с единодушно присвоенной ему кличкой «дурак». И ни увещевания, ни угрозы, ни розги не укротили его. Редко кто из людей, подобно старинному приятелю его отца, скажет об Иванушке: «Совсем он не дурак, а только подлых мыслей у него нет-от, оттого он и к жизни приспособиться не может».

Грустная сказка, печальная. И хотя нет в ней никаких конкретных намеков, но, когда ее читаешь, улавливаешь связь с какими-то очень личными, интимными раздумьями сатирика о судьбе свободолюбцев, народных заступников, людей веры, чести и правды. Однако чего бы это ни стоило, какие бы новые кары не готовила жизнь, таких людей на Руси становилось все больше. Они ее цвет, ее гордость.

В сказке-элегии «Приключение с Крамольниковым» Щедрин искренне сочувствует людям честной, бесстрашной мысли. Его герой, пошехонский литератор, страстно любит свою страну, отлично знает ее прошлое и настоящее. Но знание это оказывается для него источником страданий. «Быть может, он усматривал впереди чудо, которое уймет снедающую его скорбь»,— недвусмысленно замечал сатирик. Но пока Крамольникова лишили самой большой его привязанности, лишили общения с читателем. И что самое горькое, читатель даже не думает проявлять признаков истинного сочувствия. Со всех сторон только и слышится:

«— Терпели вас, терпели,— ну, наконец...

— Нынче не разговаривать нужно, а взирать и, буде можно, усматривать.

— И за дело! Будет с вас! Вы, сударь, не только себя, но и других компрометируете — вот что!»

И говорят это вчерашние друзья, приятели и почитатели. Глубокая боль щедринская в этих строках.

В заключающих сказку раздумьях Крамольникова о том, что он «не самоотвергался», «не спешил туда, откуда раздавались стоны», выражена неудовлетворенность одной лишь литературной формой борьбы. Должно было пройти целых два сложных и трудных десятилетия в истории России, чтобы в 1905 году В. И. Ленин мог сказать: «Мы дожили до революции. Времена одного только литературного давления уже прошли» [1].

Сказки Салтыкова-Щедрина еще при жизни сатирика вошли в арсенал средств революционной агитации в России. Они читались на рабочих и студенческих сходках. Некоторые из них, запрещенные цензурой, появлялись в подпольных и заграничных революционных изданиях.

Группа тифлисских рабочих писала в 1889 году вдове Салтыкова-Щедрина: «Кто не полюбит эти сказки, кто не поймет, что автор их любил и жалел простой народ? Он знал и чувствовал наше горе и видел, что мы всю жизнь проводим в тяжелом, бесправном труде, не пользуясь плодами его».

К образам щедринских сказок неоднократно обращался В. И. Ленин, вспоминая по разным злободневным политическим поводам диких помещиков и коняг, премудрых пискарей и карася-идеалиста.

Чтобы с убийственной краткостью охарактеризовать либеральных народников, В. И. Ленин пересказывает щедринскую сказку «Либерал»: «Начинает этот либерал с того, что просит у начальства реформ «по возможности»; продолжает тем, что клянчит «ну, хоть что-нибудь» и кончает вечной и незыблемой позицией «применительно к подлости» [2].

А когда наступает тяжелая пора политической реакции после поражения первой русской революции, В. И. Ленин вновь мысленно обращается к любимому сатирику. «Пора родиться новому Щедрину...» [3] — пишет он в январе 1907 года.

---

[1] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 11, с. 244.
[2] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 1, с. 268.
[3] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 14, с. 237.

ЗАБЫТЫЕ СЛОВА



Вскоре после закрытия «Отечественных записок» неожиданно для многих почитателей Салтыкова-Щедрина в его творчестве намечаются существенные идейные и художественные перемены.

Всегда чуткий к внутренним движениям жизни, сатирик делает главными героями новых книг во второй половине восьмидесятых годов людей средних и низших слоев России. Автор «Мелочей жизни» (1886—1887) останавливает внимательный взгляд на разночинцах, интеллигентах, общественная роль которых в пореформенные десятилетия сильно возросла, на типах крестьян («хозяйственный мужичок»), городских ремесленников и полупролетариев («портной Гришка»).

«Столпы» привилегированных классов, «столпы» семьи, собственности и государства со страниц щедринских циклов не исчезают. Они уступают первое место типам и героям «низовой» России. Вновь сказался глубокий демократизм писателя. Страна находилась в преддверии того исторического этапа освободительной борьбы, который В. И. Ленин определит как «движение самих масс» [1].

Новые интонации в щедринском повествовании словно бы предугадывали рождение Чехова, его мягкую, лирическую и одновременно безупречно строгую и суровую манеру письма. Злой, разоблачающий господ и хозяев жизни, развенчивающий ташкентцев и помпадуров, головлевых и деруновых сатирический смех Салтыкова-Щедрина словно бы уступает место грустному юмору. В творчестве художника заметно уси-

---

[1] См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 21, с. 261.

ливается трагическое звучание. В «Мелочах жизни» оно уже явно господствует над комическим. Здесь что ни страница, то новая драма, новая картина смерти людей.

Одни убивают себя из-за невозможности жить в страшных условиях незащищенности, бесправия, нравственного угнетения (сельская учительница Губина, портной Гришка, юноша Крутицын). Другие преждевременно гибнут, став, подобно студенту Чудинову, жертвой голода и чахотки.

«Мелочи жизни» отличаются обилием картин быта, повседневности. Художник проникает в психологию измученных жизнью людей. Нарастание трагических мотивов, несомненно, связано с некоторыми личными обстоятельствами жизни Салтыкова-Щедрина. Его жестоко терзала и мучила болезнь. Все нестерпимее становился цензурный гнет. Само имя его едва ли не делается противоцензурным. К этому прибавляется необходимость налаживать сотрудничество в идейно чуждых журналах и газетах.

Последним крупным произведением сатирика стала его «Пошехонская старина». Она задумана была как вещь в известном смысле мемуарная. Но в ходе работы первоначальный план изменился. Салтыков, по его собственному признанию, перемешал здесь свое с чужим и в то же время дал место вымыслу. Персонажи из далекого, но очень живучего Пошехонья непрестанно напоминали о себе и в жизни, и в литературе. Писатель говорил своим друзьям.

«— Ах, поскорее бы кончить, не дают мне покоя... все стоят передо мной, двигаются; только тогда и отстают, когда кто-нибудь совсем сходит со сцены».

Это не было просто путешествие в крепостническое прошлое. А именно так почти единодушно оценила «Пошехонскую старину» современная сатирику печать. Между тем писателя волновали большие и злободневные общественные вопросы. Пошехонье — не отжившая свой век старина. Оно по-прежнему властно давило на человека, уродуя и «хозяев», и народ.

«Доброе старое время» раскрыто в своих истинных мрачных очертаниях и красках. Оно представлено помещичьей семьей Затрапезных, коллекцией других жестоких душевладельцев, истязателей, благодушных бездельников, прожигателей жизни.

Крупнейшим художественным завоеванием стали типы крепостных в «Пошехонской старине». До сих пор литература не знала таких крестьянских образов, как раба «по убеждению» Аннушка, сильная, незаурядная натура; отчаянно озорной Ванятка-Каин; активно бунтующая против несправедливости Мавруша-Новоторка; бессчастная Матренка, сломленная тоской, чуткая и душевная женщина. Образы эти врезались в память не одного поколения читателей.

Автор «Пошехонской старины» не искал исключительных драматических ситуаций. Он увидел трагизм, казалось бы, в нормальном, в буднях, в мелочах жизни, в ее обыденном течении. «Какие потрясающие драмы,— писал сатирик,— могут всплыть на поверхность из омута мелочей, которые настолько переполняют жизненную обыденность, что ни сердце, ни ум в минуту свершения не трогаются ими».

Ни один русский писатель не испытал на себе таких цензурных гонений и беспощадных расправ, какие выпали на долю Салтыкова-Щедрина. Он сам называл себя с горькой иронией воспитанником цензурного ведомства. «...Чего со мной не делали! И вырезывали, и урезывали, и перетолковывали, и целиком запрещали, и всенародно объявляли, что я — вредный, вредный, вредный»,— так рассказывал Салтыков-Щедрин в «Мелочах жизни» о своих взаимоотношениях с цензорами всех рангов и мастей.

Салтыков-Щедрин принадлежал, однако, к тем революционным русским писателям, которых царская цензура не смогла сломить. Подобно Белинскому, Герцену, Чернышевскому, Добролюбову, Некрасову, он проявлял мужество и неподражаемое умение через любые препоны цензуры проводить в массы читателей «крамольные» освободительные идеи. Сатирик стал мастером иносказания. «Именно то, что свой тончайший и ядовитейший анализ русской общественности и государственности Щедрин умел виртуозно одевать в забавные маски,— заметил А. В. Луначарский,— спасло его от цензуры и сделало его виртуозом художественно-сатирической формы» [1].

---

[1] *Луначарский А. В.* Собр. соч. в 8-ми т. Т. 1. М., «Худож. лит.», 1963, с. 280.

Порой в беседах с читателем-другом Салтыков честно высказывал довольно мрачные мысли. Говорил, что осуществление высоких человеческих идеалов «худое время» отодвигает в неопределенное будущее. Но при этом писатель никогда не опускался до неверия в человека, в его совесть, в его ум. Это и давало сатирику силы с гневным смехом обрушиваться на современный ему политический режим, на «самодовольную современность».

Вокруг его имени и его творчества буквально кипела острая борьба мнений. Так продолжалось и на склоне его жизни. У Салтыкова-Щедрина были искренние, пламенные почитатели. Но и среди них многие лишь поверхностно разбирались в смысле его сатирических выступлений. «Цветы невинного юмора», «безобидная сатира», «смех ради смеха», — каких только горьких и несправедливых упреков не пришлось Салтыкову выслушать на своем веку. И самое обидное, упреки эти нередко исходили от людей радикальной мысли, с недоверием глядевших на сатирика, еще недавно занимавшего высокий пост на бюрократической службе. Враги же рисовали отпугивающе мрачный портрет писателя, представляя его циником, безразлично глумящимся над всем святым и добрым.

При всех своих симпатиях к Н. К. Михайловскому, Н. А. Белоголовому, А. М. Унковскому, П. В. Анненкову и некоторым другим современникам, с которыми он общался в последние десять лет жизни, Салтыков-Щедрин был, в сущности, одинок. Не случайно он так часто с волнением говорил о читателе-друге, мнением и поддержкой которого очень дорожил.

Читателю Салтыков-Щедрин посвящает знаменитую главу из цикла «Мелочи жизни». Разный он очень, читатель. «Ненавистник» — тот «без умолку твердит об обуздании, убеждает, грозит, доказывает существование вулкана, витийствует на тему о потрясении основ», в то время как основы эти, увы, стоят неизменными. Основами Салтыков-Щедрин эзоповски именовал государственный порядок.

«Солидный» читатель из интеллигентных верхов лишен собственных убеждений, в нравственном смысле безразличен: «куда прочие, туда и он!».

«Простец», составлявший читательское ядро,— представитель самой широкой и всеядной читательской массы. Он преимущественно трепещет и остерегается одного: «как бы за́ день его не искалечили» — и оттого всегда может стать орудием в более сильных руках. «Простец» — покупатель и потребитель, подписчик и усердный чтец. «Движения его строго регулируются городовыми, которые наблюдают, чтоб он не попал под вагон и вообще шел в то место, куда следует идти... Не мудрствуя лукаво, «простец» следит за движением указующего перста, совершенно равнодушный к тому, что таится в той дали, куда этот перст направлен».

Была, конечно, и еще одна категория — «читатель-друг». Но и тот как-то «заробел, затерялся в толпе, и дознаться, где именно он находится, довольно трудно». И сатирик тоскует по умному, отзывчивому, понимающему читателю.

Всем, кто близко знал Салтыкова, бросались в глаза его прямота, его бурный темперамент. Он привык всегда говорить то, что думал, и, если был не согласен с собеседником, то никогда не скрывал этого.

В суровом его облике внимательные современники под корой грубости и угрюмой раздражительности разглядели искреннюю сердечность, чуткость и доброту. Лично знавшие писателя Чернышевский, Некрасов, Тургенев, Л. Толстой, Гончаров, Островский, Достоевский в своих письмах, дневниках и заметках оставили проницательные и глубокие отзывы о могучем щедринском даровании, о его необычайной прозорливости, о высоком чувстве долга.

Только небольшому кругу лиц были в свое время известны подробности биографии писателя. Мало кто знал о его безрадостном пошехонском детстве, о драматизме вятской ссылки в молодые годы, о тяготах чиновничьей службы и семейной неустроенности. Но зато на виду у всей мыслящей России был труд Салтыкова-Щедрина в литературе, которую любил он страстно и которой отдал все силы своей щедрой души. На виду у всех была его титаническая борьба с царизмом. В гениальном сатирике справедливо видели совесть честной, думающей, передовой России.

К нему искренне тянулась революционная молодежь. Старшая сестра В. И. Ленина — Анна Ильи-

ична Ульянова вспоминала, как в 1885—1886 годах больного писателя посетили студенческие делегации, и в их составе она сама с братом Александром. «Наш любимый писатель»,— так А. И. Ульянова называет Салтыкова-Щедрина от имени передовой учащейся молодежи.

Одна из свидетельниц этих встреч, З. А. Венгерова писала впоследствии, как, выйдя из подъезда салтыковского дома, под впечатлением волнующего свидания с писателем, студенты долго не расставались: «Казалось, он дал нам бесконечно много своим незабываемым взглядом, точно приобщил нас к своей тоске, точно завещал нам свой непримиримый гнев».

Через полгода Александр Ильич Ульянов был казнен за попытку покушения на царя...

Современники свидетельствуют о встречах писателя с видными революционерами, о том, что он, руководя «Отечественными записками», смело печатал на страницах журнала статьи и очерки деятелей революционного движения, оказывал им разнообразную помощь. Салтыков-Щедрин не был, однако, непосредственным участником революционного подполья. Страстное критическое слово стало его *главным делом* в освободительной борьбе родного народа.

До последних дней не покидали Салтыкова сомнения: «...Не ошибся ли, что сделал сатиру главною темою моих работ? Не напрасно ли трудился я в течение сорока лет? Поймут ли, оценят ли ее как следует? Принесет ли она какую-нибудь пользу?»

Осенью 1887 года Салтыков-Щедрин сказал о себе: «В 1868 году совсем оставил службу и исключительно отдался литературе. Написал 22 названия книг. В настоящее время, одержимый жестоким недугом, ожидаю смерти».

Ради литературы он оставил службу, порвал с тем кругом, к которому принадлежал по происхождению и по служебному чину. В ней одной, в литературе, сосредоточились все его интересы...

Болезнь писателя заметно прогрессировала. Его часто и сильно лихорадило, внезапно бросало в жар. Михаил Евграфович, как припоминали знакомые, продолжал по-прежнему острить и подтрунивать над собой:

— Доктора говорят,— усмехался он,— что мне нынешний год не умереть.

А до конца года оставалось чуть больше суток.

Лечащие его врачи не находили в нем ни одного здорового органа. «Надо только удивляться,— говорили они позже,— откуда он набирался сил, чтобы писать!»

Из кабинета почти беспрестанно доносился хриплый, зловещий кашель. У гостей в соседней комнате замирало сердце.

На болезнь в письмах последних лет Салтыков-Щедрин жалуется постоянно: «...чувствую себя ужасно. Каждое утро встаю с мыслью: не лучше ли застрелиться» (июль 1886 года); «...голова так слаба, что решительно ничего не могу делать. Вечный шум, точно прибой волн. Боюсь с ума сойти» (май 1887 года).

Он полулежал в кресле в своем кабинете и, как обычно, работал.

За несколько недель до смерти писатель посторонних не принимал совсем, а когда ему о них докладывали, то отвечал:

— Занят, скажите... Умираю...

В конце жизни Салтыков-Щедрин обдумывал тему «забытых слов». Среди «царюющего зла», как маяк, светили ему слова, полные глубокого смысла и значения. Их во что бы то ни стало необходимо было перенести на бумагу. Надо спешить. Ведь это будет его завещанием русскому обществу, читающей и думающей России. В эти дни он как-то замечает Н. К. Михайловскому:

— Были, знаете, слова: ну, совесть, отечество, человечество... другие там еще... А теперь потрудитесь-ка их поискать! Надо же напомнить...

Добро, истина, красота, справедливость, свобода, совесть — именно эти слова в раздумьях сатирика всегда соединялись с понятием о благе народа, о процветании родины. И именно эти слова, как полагал Салтыков-Щедрин, многими были забыты.

Но привести в исполнение свой замысел он не успевает. Смерть прерывает работу на первой странице.

28 апреля (10 мая) 1889 года Салтыкова-Щедрина не стало.

Через две недели после его смерти поэт А. М. Жемчужников посвятил его памяти строки, вдохновленные «забытыми словами»:

Преемника тебе не видим мы пока.
Чей смех так зол? и чья душа так человечна?
О, пусть твоей души нам память будет вечна,
Земля ж могильная костям твоим легка!
Ты, правдой прослужив весь век своей отчизне,
Уж смерти обречен, дыша уже едва,
Нам вспомнить завещал, средь пошлой нашей жизни,
Забытые слова.

«Мне жаль Салтыкова,— писал молодой Чехов.— Это была крепкая, сильная голова. Тот сволочной дух, который живет в мелком, измошенничавшемся душевно русском интеллигенте среднего пошиба, потерял в нем своего самого упрямого и назойливого врага».

Чувства глубокой скорби трудящейся России трогательно выразили в своем бесхитростном адресе тифлисские рабочие. «Смерть Михаила Евграфовича,— писали они вдове сатирика,— опечалила всех искренне желающих добра и счастья своей родине. В лице его Россия лишилась лучшего, справедливого и энергичного защитника правды и свободы, борца против зла, которое он своим сильным умом и словом разил в самом корне. И мы, рабочие, присоединяемся к общей скорби о великом человеке».

Салтыков подчас скромно оценивал свою роль в литературе. «Писания мои,— размышлял он,— до такой степени проникнуты современностью, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности».

Однако сатирические типы писателя пережили свою эпоху. Изумительное мастерство Щедрина-художника проверено самым строгим и беспристрастным критиком — временем. Щедринские характеристики, его язвительные афоризмы, клички, его типы, подобно гоголевским, «вошли как бы в самый состав русского языка» (К. А. Федин). Помпадур, иудушка, премудрый пискарь, карась-идеалист, коняга, пенкосниматель, чумазый, пошехонец, глуповец, пустопляс и нескончаемое множество других щедринских образов превратились в нарицательные образы-символы.

В сатирах Салтыков-Щедрин запечатлевал зло и уродство своей эпохи. Но и в наши дни его произведения полны силы и живого значения. Действенность их сохраняется именно потому, что щедринские образы это не сатирические зарисовки-однодневки, каких много было и до и после него, это, прежде всего, широчайшие художественные обобщения.

«Новая жизнь еще слагается, она не может и выразиться иначе, как отрицательно, в форме сатиры или в форме предчувствия и предвидения», — как-то заметил Салтыков-Щедрин. Ему самому в высшей степени было присуще это свойство: сатирически разоблачать старое, отживающее, но цепкое, и утверждать новое, прогрессивное, освещенное демократическими идеалами. Сатира Салтыкова-Щедрина способна действенно помочь воспитанию человека цельного, честного, духовно богатого, умеющего широко понять и оценить жизнь как творчество.

Щедринские сочинения и поныне внушают естественную неприязнь к бездушию, паразитизму, бюрократическому своеволию, кичливому хамству, к иудушкиному лицемерию и ханжеству, в каких бы осовремененных формах они ни выступали.

Один из известных иллюстраторов сатирика народный художник СССР Б. Ефимов в дни, когда широко отмечалось 150-летие со дня рождения Салтыкова-Щедрина, писал в «Правде»: «Нельзя не вспомнить и период Великой Отечественной войны, когда щедринская сатира воевала в наших рядах против гитлеровцев, не вспомнить серию плакатов 1941 года, которые так и назывались: «Сатиру Щедрина на борьбу с фашизмом!».

Но и во все последующие годы щедринское наследие не «снимается с вооружения»... Разве не мелькнет еще кое-где в нашей среде пустозвонствующий «Балалайкин», приспособленец-«Либерал» или лицемерный «Иудушка», сочетающий произнесение прописных истин с грязными делишками? И как замечательно приходит тогда нам на помощь Щедрин!» («Правда», 1976, 26 января).

В нашей стране существует прекрасная традиция — отмечать каждый знаменательный литературный юбилей как большой праздник отечественной культуры. В

дни, предшествовавшие 150-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина, вышли в свет новые издания сочинений сатирика. Общий тираж щедринских произведений, напечатанных за годы Советской власти, превысил 30 миллионов экземпляров. Выпущены новые книги о нем, адресованные как специалистам, так и массовому читателю. Прошли научные конференции, литературные вечера, организовывались выставки, обновлялись музейные экспозиции. В Калинине (бывшей Твери) состоялось открытие памятника писателю (автор — скульптор О. К. Комов) и нового литературно-биографического музея Салтыкова-Щедрина. Создателю «Господ Головлевых» и «Современной идиллии» посвящались теле- и радиопередачи, театральные спектакли, публикации на страницах газет и журналов.

Больше всего на свете великий сатирик хотел, чтобы его читали. Ведь настоящее, вдумчивое чтение, убежден был Салтыков-Щедрин, делает человека мудрее, честнее, отзывчивее. К сожалению, нередко еще знакомство с щедринскими произведениями ограничивается обязательным школьным минимумом...

Оспоривая стойкие читательские предубеждения относительно трудностей, которые могут встретиться при чтении сатир Салтыкова-Щедрина, А. В. Луначарский говорил: «Вы не думайте, что этот больной старец в пледе, этот человек с колючими глазами и судья со скорбным ртом будет нам читать тяжелые, хотя и режущие проповеди,— нет, это человек неистощимой веселости, блестящего остроумия, это величайший «забавник», мастер такого смеха, смеясь которым человек становится мудрым»[1]. Верное, точное напутствие юным читателям Салтыкова-Щедрина!

---

[1] *Луначарский А. В.* Собр. соч. в 8-ми т. Т. 1. М., «Худож. лит.», 1963, с. 285.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Если вы почувствуете желание глубже познакомиться с наследием Салтыкова-Щедрина, воспользуйтесь популярным изданием его сатир, которые без труда отыщутся в любой школьной или районной библиотеке. Для более систематического и целенаправленного чтения обратитесь к *Полному собранию сочинений в двадцати томах,* вышедшему в 1933—1941 годах, или *Собранию сочинений в двенадцати томах,* появившемуся в 1951 году в приложении к журналу «Огонек». Издательство «Художественная литература» завершило выпуск в свет нового и самого полного *Собрания сочинений* М. Е. Салтыкова-Щедрина в двадцати томах, адресованного широкому кругу читателей и снабженного обстоятельными комментариями.

Суждения о писателе-сатирике В. И. Ленина, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева и других деятелей литературы и общественной мысли России собраны в книге «М. Е. Салтыков-Щедрин в русской критике» (М., Гослитиздат, 1959), открывающейся вступительной статьей *М. С. Горячкиной.* Отрывки из мемуаров людей, близко знавших писателя, встречавшихся с ним, объединены в двухтомном сборнике «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников» (М., «Худож. лит.», 1976), предисловие к которому написал *С. А. Макашин.* Этому же автору принадлежат и два тома биографии Салтыкова-Щедрина: Салтыков-Щедрин. Биография. Изд. 2-е, доп. (М., Гослитиздат, 1951); Салтыков-Щедрин на рубеже 1850—1860 годов. Биография. (М., «Худож. лит.», 1972).

Советская наука располагает сегодня многими исследованиями, которые позволяют достаточно глубоко взглянуть на литературное наследие художника. Это книги *В. Я. Кирпотина* М. Е. Салтыков-Щедрин. (М., «Сов. писатель», 1955); *Н. В. Яковлева* «Пошехонская старина» М. Е. Салтыкова-Щедрина. Из наблюдений над работой писателя. (М., «Сов. писатель», 1958);

А. С. Бушмина Салтыков-Щедрин. Искусство сатиры. (М., «Современник», 1976); Сказки Салтыкова-Щедрина. Изд. 2-е, дораб. (Л., «Худож. лит.», 1976); *Е. И. Покусаева* Революционная сатира Салтыкова-Щедрина. (М., Гослитиздат, 1963); «Господа Головлевы» М. Е. Салтыкова-Щедрина. (М., «Худож. лит.», 1975) и др.

Обширна и разнообразна краеведческая литература о Салтыкове-Щедрине. Назовем, в частности, книги *Н. В. Журавлева* М. Е. Салтыков-Щедрин в Твери. (Калинин, Кн. изд-во, 1961); *В. Н. Киселева* Салтыков-Щедрин в Подмосковном крае. (М., «Моск. рабочий», 1970); *Е. Д. Петряева* М. Е. Салтыков-Щедрин в Вятке. (Киров, Волго-Вятское изд-во, 1975).

Ценные сведения и справки об издании книг Щедрина и о работах, посвященных сатирику, вы найдете в библиографических указателях, составленных *Л. М. Добровольским, В. М. Лавровым, В. Н. Баскаковым* и др.

Подробнее с писательской судьбой Щедрина вас познакомит биографическая книга *А. Туркова* Салтыков-Щедрин, выпущенная издательством «Молодая гвардия» в 1964 году в серии «Жизнь замечательных людей». Издательство «Просвещение» выпустило в свет альбом «М. Е. Салтыков-Щедрин в портретах, иллюстрациях, документах» (Л., 1968). Эти и другие книги помогут вам лучше узнать писателя, чье наследие должно стать, по словам А. В. Луначарского, «как можно шире и глубже известным».

Содержание

ИБ № 1527

Евграф Иванович Покусаев
Валерий Владимирович Прозоров

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Биография писателя

Пособие для учащихся

Редактор *Т. Н. Орлова*
Художник *Н. И. Васильев*
Художественный редактор *В. Б. Михневич*
Технический редактор *Н. И. Аснина*
Корректор *В. И. Войцеховская*

Сдано в набор 20/IX 1976 г. Подписано к печати 2/II 1977 г. М-23526. Бумага типографская № 2. Формат бумаги 84×108 1/32. Печ. л. 5+ +вкл. 0,25. Уч.-изд. л. 8,08+вкл. 0,34. Усл. печ. л. 8,4+вкл. 0,42. Тираж 100 000 экз. Заказ № 847. Цена 24 к.

Ленинградское отделение ордена Трудового Красного Знамени издательства «Просвещение» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28.

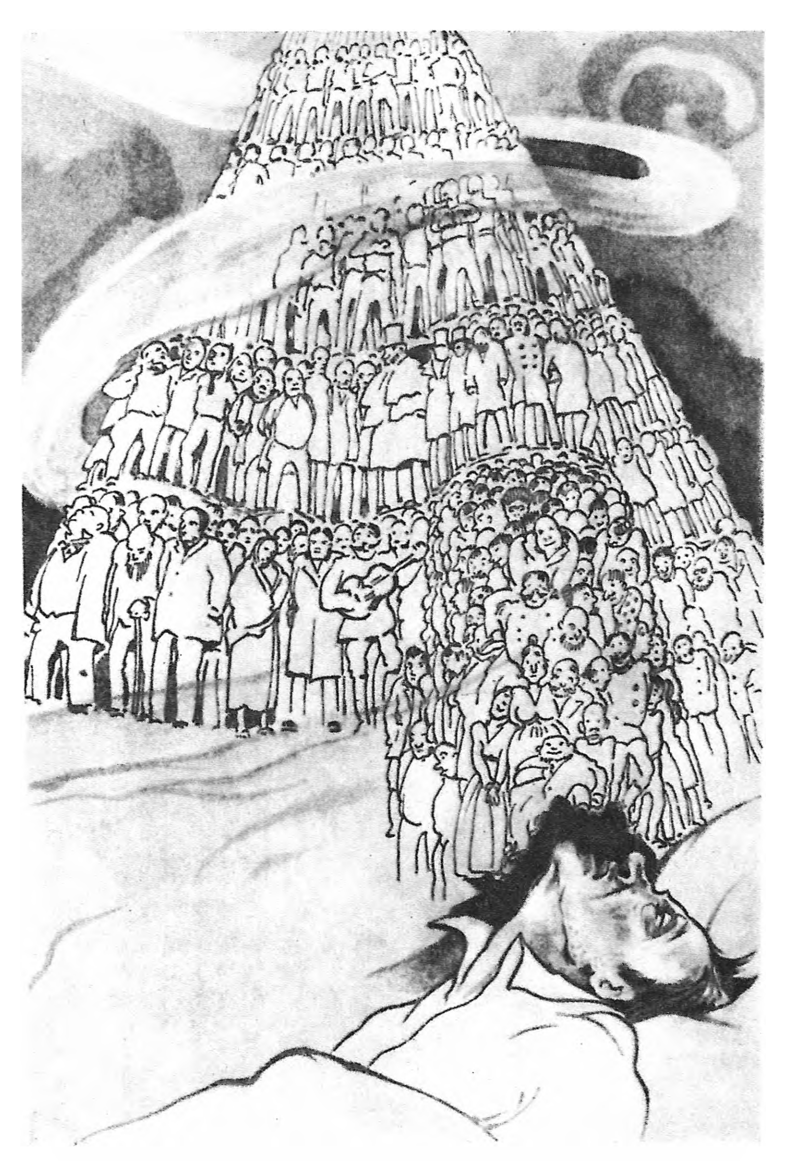
Вклейки отпечатаны на Ленинградской фабрике офсетной печати № 1 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197101. Ленинград. П-101, ул. Мира, 3.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.

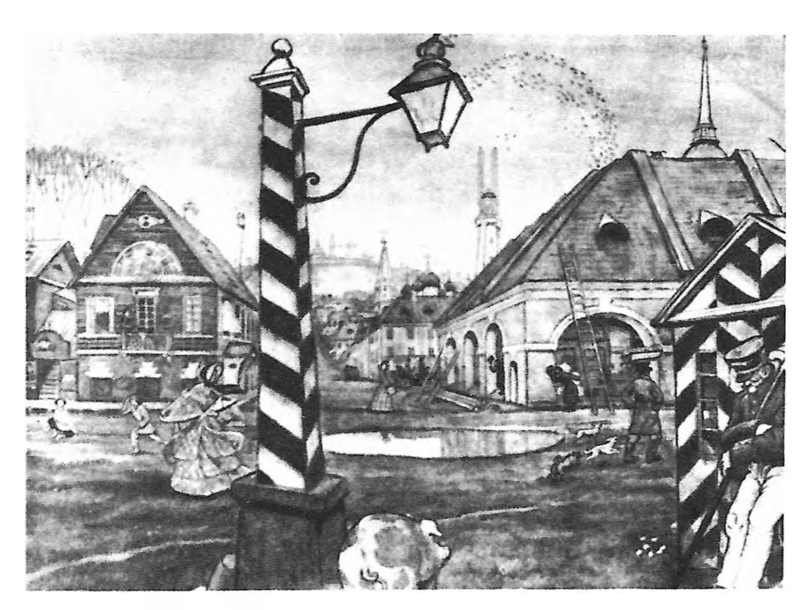
Село Спас-Угол. Дом Салтыковых.
Акварель Д. Н. Афанасьева по рисунку начала 900-х годов.



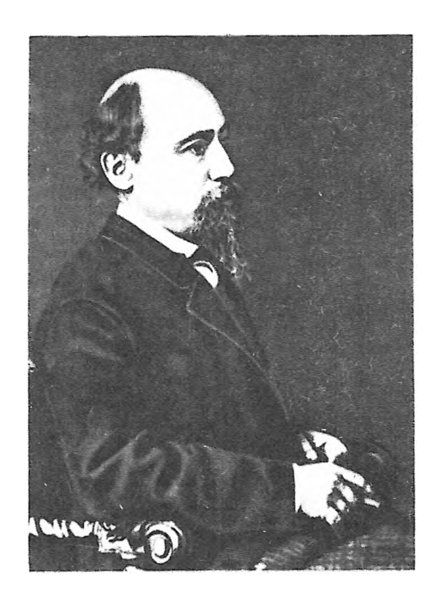
О. М. Салтыкова,
мать писателя.
Фотография. 1860-е годы.



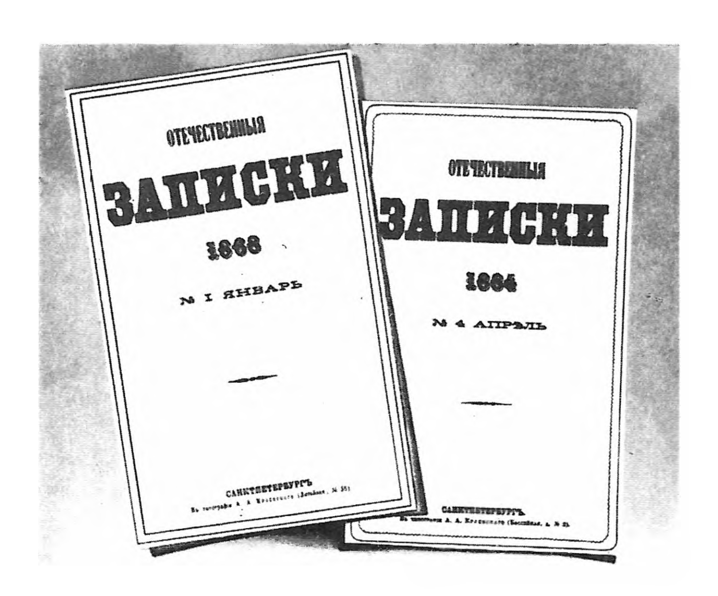
«Запутанное дело». Сон Ивана Самойлыча.
Рисунок О. Ю. Клевера. 1932.



Провинция.
Акварель М. В. Добужинского. 1907.



Н. А. Некрасов.
Фотография.
1870-е годы.



«Отечественные записки». Первый номер, вышедший под редакцией Н. А. Некрасова, и последний номер журнала.



М. Е. Салтыков-Щедрин.
Фотография.
Конец 1860-х годов.

Статья до просмотра цензурой и статья процензурованная.
Рисунок А. Н. Бордгелли. 1863.



«История одного города».
Угрюм-Бурчеев.
Офорт Ю. В. Ворогушина.
1956—1957.



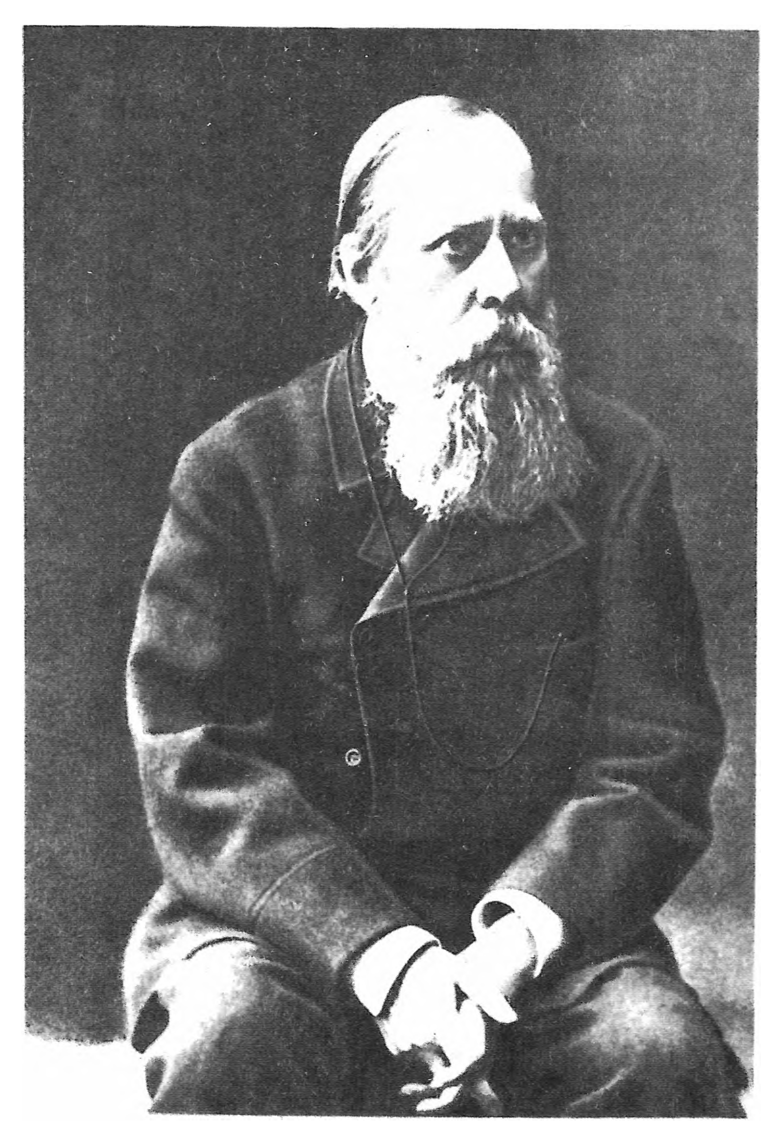
«За рубежом».
Разговор свиньи с правдой.
Рисунок О. Ю. Клевера.
1933.

«Господа Головлевы».
Иудушка Головлев.
Рисунок Кукрыниксов.
1939.





«Повесть о том,
как один мужик
двух генералов прокормил».
Рисунок Кукрыниксов.
1939.



М. Е. Салтыков-Щедрин.
Фотография. 1880-е годы.